



Сергей Дигол

**Утро
звездочета**

Сергей Дигол
Утро звездочета

«Издательские решения»

2014

Дигол С.

Утро звездочета / С. Дигол — «Издательские решения», 2014

Роман, вошедший в лонг-лист «Русской премии» за 2011 год. Новобранец московского следственного комитета расследует убийство известного театрального критика – преступление, ставшее лишь первым звеном в цепи нераскрытых убийств знаменитостей. Убийств, шокирующих общество, приведших к целому ряду драматических событий. Проблема в том, что следователь, попавший в ряды Следственного комитета волею случая, совершенно не готов не просто к таким головокружительным расследованиям, но даже к обычным для организаций такого уровня внутренним интригам. А тут еще и семейная драма... Так кто же убивает столичных «звёзд»? И какую роль предстоит сыграть «серой мышью» – рядовому следователю – в раскрытии загадочных преступлений?

© Дигол С., 2014

© Издательские решения, 2014

Содержание

1	6
2	26
«Ракушка» для Феррари.	34
3	38
4	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Утро звездочета

Сергей Дигол

Всякий раз, когда я говорил, что работаю над романом о ЦРУ, каждый, и я считаю, это делает честь скорее ЦРУ, чем автору, говорил: «Поскорее бы прочесть»

Норман Мейлер

Я не антисемит, не расист, не нацист, искренне прошу меня простить

Ларс фон Триер

Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь

Махатма Ганди

© Сергей Дигол, 2014

© Сергей Дигол, обложка, 2014

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

1

Телевизор тянет из меня последние на сегодня остатки самообладания. Изображение никак не рассеет невозмутимую черноту на экране, хотя звук уже обрастает громкостью, и я покрываюсь гусиной кожей – так меня трясет и колотит.

Трясет меня от всего на свете. Я живу в этом мире, и от него у меня регулярно волосы встают дыбом и по всему телу. Стоит ли удивляться, что телевизор перенял привычку раздражающего меня мира, который, кстати, для миллионов его обитателей ограничивается как раз телевизионным экраном.

Экраны вытягиваются в ширину и выравниваются до безупречной плоскости, кинескопы вытеснены жидкокристаллическими и плазменными экранами, а от бьющего из динамиков объемного звука то и дело хочется пригнуться. При этом даже сорокадвухдюймовый Сони Бравиа в кабинете шефа загорается с приличным отставанием от звука, что уж говорить о моем Шарпе девяносто шестого года выпуска. Диагональ семнадцать, выпуклый экран, звук – плоское моно. Что, интересно, мешает сделать телевизор с мгновенно, сразу после включения оживающим экраном?

Или вот самолет. Скольким еще предстоит заживо сгореть в адском пламени наяву, умереть этой страшной и унижительной смертью, погибнуть в авиакатастрофе? Рыдающие, истошно кричащие люди, рвущий волосы на себе и пуговицы – с кителей бледных стюардесс. Что мешает оснащению всех самолетов мира спасательными конструкциями? Например, специальными гигантскими парашютами, способными замедлить катастрофическое падение авиалайнера до скорости плавно спускающегося парашютиста. При аварийном приземлении с парашютом вместо шасси выпускается воздушная подушка, полностью обволакивающая фюзеляж, и мягкая посадка – в прямом, кстати, смысле, – обеспечена. Конечно, потребуются значительные вложения, вот только дело, подозреваю, совсем не в деньгах. Гораздо выгоднее, чтобы миллионы людей по всему миру ежедневно покрывались, как я сегодня перед телевизором, гусиной кожей, а их сердца проваливались в пятки, в одном направлении с попадающим в воздушную яму самолетом. Кого-то очень устраивает, чтобы каждая посадка, как начало новой жизни, сопровождалась аплодисментами, хотя что-то не припоминаю, чтобы даже первому крику младенца в родильном зале было бы принято рукоплескать.

Я так и фонтанирую идеями, которые спасут человечество. Вряд ли они когда-нибудь станут реальностью, а если мир перевернется и это все же произойдет, можно не сомневаться – мое имя в любом случае сгинет в океане безвестности. Мои сумасшедшие прозрения рождаются на свет, где их автору приходится жить под влиянием самого действенного из всех живущих во мне стимулов. Страха. По правде говоря, я не уверен, что кроме страха, во мне живы еще какие-то стимулы, да и чувство страха в последнее время я нахожу все более скучным, и дело не только в отвлекающих мыслях – тех же безумных прожектах, – которыми мой мозг спасается от нескончаемого напряжения.

Признаюсь честно и без тени бахвальства: меня не страшит даже самоубийство. Да и как может испугать то, чего так сильно желаешь? Тем более то, на что никак не решишься? Проблема, конечно, в воле, этой странной субстанции, даже слабость которой я не в состоянии ясно ощутить в себе, но реальность которой все же принимаю на веру. Иных объяснений моих бесконечных отказов от более-менее самостоятельных решений у меня просто нет.

Поэтому от мысленных претензий к производителям телевизионной техники я резко переключаюсь на комплиментарную волну и с неожиданной радостью нахожу, что мой старенький, но, наконец, пробудившийся Шарп еще очень даже ничего. Даже взорвавшись, он выполнит свое предназначение до конца – а иной миссии, кроме удовлетворения моих потребностей, у него и быть не может. Взорвавшийся телевизор – чем не еще один способ самоубий-

ства в мою и без того изысканную коллекцию? В коллекцию, где уже имеются такие шедевры, как притворный обморок и падение аккуратно на рельсы перед прибывающим составом в метро, или отважная попытка спасения утопающего в Москве-реке? И это при том, что к своим тридцати трем, оказавшись в воде на глубине более полутора метров, я первым делом начинаю судорожно бить ногами и захлебываться.

То, что мой преднамеренный уход никто и не подумает списывать на самоубийство, меня ничуть не беспокоит. Я – самый обычный человек, а таким не принято лишать себя жизни. И все же, при всех оговорках, страхах и нерешительности, я хотел бы сделать это. Прежде всего – для себя, хотя и для будущего тоже. В памяти потомков я хотел бы, если и остаться, то ненадолго и только – как мало приятное, но случившееся событие, которое хочется поскорее забыть. Даже у самых близких людей вряд ли возникнет желание теребить свое прошлое – то, в котором останусь я. Вот я и изобретаю – нет, не спасающие жизни людей усовершенствования, а нечто прямо противоположное – меньше всего похожие на самоубийство способы добровольного лишения себя жизни.

Получается у меня неважно, как, впрочем, слишком многое в жизни. Проще сказать, что у меня получается хорошо, хотя, если наморщить лоб и попытаться припомнить свои беспорные удачи, выйдет, что и воспоминания о собственных победах – не мой конек. Лоб у меня, кстати, влажный, а по вискам и вовсе струится пот – Москвой безраздельно правит жара. Кажется, это первый раз, когда мою квартиру обогревает окружающая среда, всю предыдущую жизнь я безвозмездно жертвовал атмосфере тепло собственного жилища.

Сегодня на улице – плюс тридцать два и это в восемь вечера, если не врут цифры в левом верхнем углу телеканала ТВЦ. Пора уже добираться до конечной точки моего телевизионного путешествия, ради которого меня сегодня и вызвал к себе Мостовой. Собственно, шеф вызывает нас ежедневно, но я же и недаром повторяю: вызвал меня. Вызвал, едва отпустив всех, включая, кстати, опять же меня, с оперативного совещания. Вернувшись в его непривычно опустевший кабинет, где я впервые застал в нем его в одиночестве, я прежде всего больно ударился и поморщился. Ударился я бедром об угол стола, поморщился же не столько от боли, сколько от мысли, что заносить в коллекцию такой ненадежный способ самоубийства – с размаха лбом об стол – было бы верхом вульгарности.

Мостовой поднял глаза и выдержал паузу, прежде чем жестом пригласить меня присесть. Садился я на свинцовых ногах, потея от внутреннего жара, успешно заменяющего столичное пекло, с которым в коридорах конторы так лихо расправляются японские кондиционеры. Слишком уж конкретным и деловым получилась едва закончившаяся летучка, чтобы можно было расслабиться, списав персональный вызов к начальству на счет рабочих недоговоренностей. От неожиданности я даже не сообразил, что могу дышать свободно, когда Мостовой снова заговорил о том, о чем распинался все совещание. Об убийстве журналиста Карасина.

– Я, кстати, совершенно серьезно, – сказал он, глядя мне в глаза. – Я рассчитываю на тебя в этом деле.

Я не выдержал, взгляд опустил. Вернее, уставился на свои туфли. Воодушевления от внезапной ответственности я не ощутил, и совсем этому не удивился. Я просто не знал, какие эмоции демонстрировать шефу и нужно ли вообще что-либо демонстрировать.

В Следственном комитете при прокуратуре по Москве я работаю седьмой месяц, и сегодня у меня два дебюта. Первый – беседа с глазу на глаз с Мостовым, второй – признание шефа о том, что поручения мне даются «совершенно серьезно». По крайней мере, поручение изучить отношение театральных кругов к убитому журналисту.

– Ты вообще читал его статьи? – спросил Мостовой.

– Только слышал о нем, – честно признался я и, если разобраться, не соврал. О театральном обозревателе журнала «Итоги» Дмитрие Карасине я впервые услышал не более часа назад. Услышал от самого Мостового, но ведь такие детали шеф не уточнял, разве не так?

– Самый скандальный театральный критик страны, – сообщил шеф, – насколько так понял, – добавил он, и я на секунду почувствовал себя равным шефу.

– Конечно, – продолжил он, – представить себе, что мотивом к убийству послужила обида на статью – это, знаешь, – он мотнул головой. – Но это на первый взгляд. С другой стороны, люди они обидчивые и злопамятные – я имею в виду деятелей искусства.

Улыбнулся я чуть заметно, но вовремя: как раз в этот момент Мостовому нужен был повод переключить тональность беседы, и он с радостью улыбнулся в ответ.

– Ну да, – радостно кивнул он, – бред, конечно. Но дело, как видишь, проблемное. Определенности вообще никакой, за исключением факта насильственной смерти. Про версии я вообще молчу – кот нагадил.

Это в стиле Мостового. Расхожие фразы, ни одну из которых он еще не произнес правильно. Во всяком случае, в моем присутствии. «С боярского плеча» – это тоже из его репертуара, так же как и «катись себе, золотая рыбка». Вместо «кот наплакал» – сами слышали.

«Пусть катится себе, золотая рыбка» – это его жемчужина с прошлой недели. Шеф подавил нам ее во время оперативки, и сидевший рядом со мной Дашкевич не удержался от вздоха облегчения. Как и я, Миша Дашкевич – советник юстиции с двумя звездочками на погонах, и даже сидим мы в одном кабинете. Правда, Мише всего двадцать четыре и наше с ним равенство в звании – и, кстати, в должности, – при ощутимой разнице в возрасте лишний раз напоминает мне о моих проблемах.

Миша – незаурядный везунчик, и то, что шеф беззаботно разрешил «катиться» подозреваемому, в отношении которого в отведенное законом время не было собрано достаточно для предъявления обвинения улик, говорит не только о том, что в его вину Мостовой не верил. Я видел, как работал над этим делом Дашкевич, и лишь утвердился в недоверии к лотерейным выигрышам – уж по крайней мере в том, что мне когда-либо удастся выиграть что-нибудь для себя. Проигрыш же Дашкевича, собиравшего улики с усердием спящего летаргическим сном, ограничился пару часами волнения перед и во время совещания и шумным выдохом в мое ухо. Чертов везунчик, он опять выиграл! Даже своим бездействием он покупает благосклонность фортуны. Глядя на Дашкевича, мне хочется поскорее найти тот единственный безупречный способ самоубийства – так тяготят меня прожитые годы. Как минимум, разделяющие нас с Дашкевичем девять лет.

Я – его полная противоположность, и наше с ним формальное равенство лишь подчеркивает, насколько мы разные. Когда я сижу в кабинете один, а Дашкевич в очередной раз задерживается у Мостового (говорят они, конечно, с глазу на глаз), мне хочется, не дожидаясь новых суицидальных озарений, просто выпрыгнуть с третьего этажа. Прямо из нашего кабинета, в котором я чувствую себя сидящим в одиночной камере или, скорее, единственным обитателем лепрозория. Мое личное мнение Мостового не интересует, более того, его даже не интересует, есть ли у меня вообще какое-то мнение по рабочим вопросам. Со своим мнением он тоже не спешит меня ознакомить – к чему все эти откровения, если меня в очередной раз бросят на заведомо бесперспективное направление?

Первое время, месяца два после того, как я начал работать в Конторе, я еще справлялся с нараставшим внутри меня напряжением, уповая на два – вполне, кстати, разумных – аргумента. Как ни крути, я был новичком и, если честно, остаюсь им до сих пор. С той лишь разницей, что каждый новый день в ранге новичка приближает меня к положению изгоя, что вряд ли способствуют внутреннему успокоению. Второй аргумент – деньги, да и они радовали недолго. Очень быстро выяснилось, что пятьдесят две тысячи рублей на новом месте работы мало чем отличаются от двадцати девяти тысяч в Пресненском отделении внутренних дел, где я проработал следователем предыдущие девять лет. Те, получается, самые девять лет, на которые я старше Дашкевича.

Одними лишь возросшими расходами на общественный транспорт свои финансовые потери я бы объяснять не стал, хотя на предыдущую работу действительно ходил пешком, а теперь вынужден ехать шесть станций метро с одной пересадкой и еще пятнадцать минут на маршрутном автобусе. Может, все дело в детях, досуг которых съедает чертову уйму денег? Или в том, что раньше мои дети не представляли, что папа раз в две недели может водить их в кафе и в парки развлечений, а я и вообразить не мог, что развлекать детей – дело не только утомительное, но еще и дьявольски затратное?

Новая зарплата не позволяет мне расправить плечи. Причем в прямом смысле – я даже в собственный кабинет захожу с опаской. Не застав в нем Дашкевича, я облегченно вздыхаю, но уже через полчаса, когда мой сосед не спешит сбежать из кабинета шефа, а из-за гула наших двух компьютеров мне кажется, что стены вокруг меня начинают съезжаться, чтобы раздавить меня, легко, как пустой орех, я не выдерживаю и вскакиваю с места. Подхожу к окну вплотную, касаясь стекла кончиком носа и вижу, как мутнеет от следов моего дыхания изображение асфальта с высоты третьего этажа. В Пресненском ОВД я даже заходил в туалет по дороге к шефу. Господи, да меня там по нескольку раз в день вызывал шеф! Меня даже легонько трясло, приятно, как в верхней точке на чертовом колесе, когда знаешь, что твое подвешенное над землей положение – всего лишь отдых перед возвращением в повседневную суету. Не удивительно, что мне все чаще хочется вернуться в прошлое, и даже понижением оклада меня не испугать. По крайней мере, теоретически.

Когда меня набрал шеф и попросил зайти, Дашкевич был на выезде. Отсутствие изумленного моим дебютом соседа, возможно, и спасло меня от обморока, хотя в коридоре у меня и закружилась голова, а может быть, мне лишь хотелось головокружения. Такого, чтобы пол под ногами потерял опорные свойства, а мозг перешел бы на бессознательный режим работы.

– В общем, займись, – подытожил Мостовой недолгий экскурс в мое персональное задание.

Шеф не уточнил, да я и сам понял, чем именно должен заняться. Пункт первый – архив журнала «Итоги» за пару последних лет, в идеале – за все время работы Карасина. Журналы – в бумажном или электронном виде – не проблема заполучить в течение пары часов, и мне оставалось лишь уповать на то, что покойный не отличался изрядным трудолюбием: перспектива прочтения всей его писанины мысленно утомила меня еще в кабинете шефа.

– И кстати, – подался вперед Мостовой и открыл ежедневник, – сегодня вечером... в... – он быстро перелистывал страницы, – в восемь. Шоу Малахова на Первом.

– «Пусть говорят»? – чуть громче, чем положено подчиненному, уточнил я.

– Шоу Малахова, – кивнул Мостовой, и я ему даже позавидовал. Счастливчик, он даже не знает точного названия передачи, от одной заставки которой меня мутит. – Тема передачи соответствующая. Вон, – он кивнул на монитор компьютера, – куда ни ткну, везде этот Карасин.

– Громкое убийство, – поддакнул я.

– Там будет Маркин, наш официальный представитель, – ткнул пальцем в страницу ежедневника Мостовой. – Послушай, проанализируй.

Наш представитель Маркин на самом деле представляет Главную Контору, Следственный комитет при Генпрокуратуре, и легкую браваду своим словам Мостовой придает, чтобы его голос не потускнел от неуверенности. По нему не скажешь, но я-то знаю: его лихорадит. Прежде всего – от нетерпения побыстрее раскрыть дело, но еще больше – из опасения, что дело заберут наверх, в Главное следственное управление, представитель которого будет сегодня, как я решил для себя, лазутчиком во вражеском стане. Кроме Маркина в эфир, как сообщил Мостовой, приглашены деятели театра и кино. А также критики, журналисты и все, кому там положено быть. Знатная, стало быть, ожидается говорильня.

Я же, выходит, назначен наблюдать за всем этим гадюшником, а в том, что ожидается гадюшник, я не сомневался ни секунды. Меня всегда тянуло сбежать из дома от одного лишь

звука позывных из заставки «Пусть говорят», от этой то ли музыки, то ли скрипа, похожего на скрежет вилки о сковороду.

Однажды я не выдержал. В комнате едва зазвучала заставка, а я уже бросил вилку в тарелку и, жуя на ходу, бросился из кухни вон. Я вбежал в комнату и тут же об этом пожалел. Так мою двухлетнюю дочь, съжившуюся на диване перед телевизором, еще никто никогда не пугал. Я долго качал ее на руках, прижимая маленькую всхлипывающую головку к своему виску, и старался не смотреть в глаза жене, влетевшей в комнату на пронзительный визг ребенка.

Испуганный взгляд дочери я вспомнил, возвращаясь от шефа к себе кабинет. Я шел по коридору, все еще слабо ощущая ноги, но теперь это была ватная усталость выбравшегося из окружения солдата. Никакого удовлетворения я не испытывал. Если быть откровенным, я его и не заслужил. Мостовой просто забыл предупредить меня о передаче во время совещания, и наше с ним последующее randevu в очередной раз расставило все на свои места. Воцарился привычный порядок, не сулящий мне ничего хорошего. Я не стану меньше бояться шефа и все также буду изводить себя оттого, что он игнорирует меня. Лишь одна вещь по-прежнему будет вносить в мою душу подавляющее смятение, которое я иногда не в состоянии отличить от эйфории. Осознание того, что шеф боится меня.

Шеф не говорит лишнего в моем присутствии и еще больше напрягается, когда я молчу. Мое молчание для него – не более, чем циничный способ добывания информации, и он даже готов пожертвовать, в ущерб общему делу, моим небесспорным даром молчать, лишь бы держать меня подальше от важных дел. А у него все дела не просто важные, а особо важные. Он и возглавляет следственную группу по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре по Москве, а скучная приставка к его фамилии – старший советник юстиции – всего лишь удачное, в соответствии с прокурорским табелем о рангах, прикрытие звания полковника, до которого он дослужился, работая старшим следователем в Главном управлении Московского уголовного розыска. Будь я помешан на символических совпадениях, я решил бы, что с Мостовым мне будет работать легко и беззаботно. В конце концов он, как и я – Сергей Александрович.

На деле все по-другому. Семь месяцев работы в Следственном комитете превратили меня в безвольного невротика и потенциального самоубийцу. Не уверен, что полное отсутствие воли лучше склонности к суициду – в конце концов, мне может и не хватить внутренних сил, чтобы свести с собой счеты. Одно я знаю точно – наша с шефом взаимная боязнь друг друга не может продолжаться вечно, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы хэппи-энд выпал на мою долю. Спасает меня, видимо, до поры до времени, лишь то, что в личном рейтинге страхов полковника Мостового я занимаю далеко не первое место.

Шеф – и об этом знают даже не имеющие права ничего знать уборщицы – так и не определился, как вести себя с собственным шефом, начальником нашего управления Багметом, которого прокуратура увольняет уже в третий раз, отчего его положение в Конторе лишь укрепилось. От оспаривания своих предыдущих отставок в суде генерал Багмет перешел к менее изощренным и, как оказалось, формально не менее законным способам борьбы. Теперь он просто заявляет, что увольнять его имеет право не генеральный прокурор, а лишь Александр Сергеевич Бастрыкин – руководитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, который считается главным покровителем Багмета.

Нашей Конторе нет еще и трех лет – стоит ли удивляться, что беспрекословное подчинение приказам вышестоящих подчиненные заменяют интригами? За интриги в Конторе неплохо платят, и любой нормальный следователь из системы МВД мечтает перейти к нам. Я и сам думал исключительно о деньгах, собирая документы на объявленную вакантной должность следователя, а положительное решение по своей кандидатуре и сейчас остается для меня

загадкой. Получив приглашение, я радовался как ребенок и не верил в реальность происходящего. Для Мостового мое приглашение – и вовсе головная боль.

Я – неизвестный ген в ДНК возглавляемой им следственной группы, и кроме излучаемой мной тревожной неясности, шеф еще больше боится одного: как бы мое разоблачение не вызвало бы еще большей паники, совсем как открытие гена рака или еще какой-нибудь неизлечимой гадости.

Нельзя сказать, что для Мостового я – единственный раздражитель среди подчиненных. Но если с Дашкевичем и Иваняном все понятно – их, следователей прокуратуры перевели в Контору в связи с отделением следствия от надзора, – а Кривошапку шеф привел с собой из МУРа, то присутствие безвестного следователя из рядового столичного ОВД ложится в колоду Мостового как шестерка среди тузов и джокера. Слабая карта, которую тебе подсунули помимо твоей воли и вовсе не из желания помочь.

Проблема в том, что шеф не знает, кто он, этот играющий против него могущественный соперник. Собственное начальство, засылающее безликого казачка? Начальство начальства – Главная Контора при генпрокуратуре, использующее мои глаза и уши для присмотра не столько за Мостовым, сколько за московским филиалом? А может, МВД, отчаянно цепляющееся за любую возможность скомпрометировать стремительно набирающего вес конкурента, в ряды которого сотнями вливаются сбегаящие от мизерных зарплат собственные сотрудники?

Любой из этих ответов плох, и нет никакой гарантии, что хотя бы один из них верный. В одном я уверен, хотя и боюсь себе в этом признаваться: я слишком много думаю о страхах Мостового и, особенно, о том, за кого он меня принимает. Во всяком случае, не за гения, иначе быть мне первым на месте преступления, куда я обычно приезжаю последним из нашей группы, когда необходимые следственно-оперативные мероприятия уже вовсю осуществляются. Объясняется это просто, хотя шеф и делает вид, что ему неудобно.

– Опять дали седан. Идиоты, – горестно вздыхает он и оглядывается, словно и в самом деле ожидает неприятностей за нелестную оценку в адрес руководства.

Со служебным транспортом у нас и в самом деле беда. По меньшей мере четверть рабочего дня я провожу в метро и хотя бы в этом отношении чувствуя себя полноценным, ведь на поверхности Дашкевич, Иванян и Кривошапка проводят ненамного больше моего. Лишь на срочные выезды нам положена Тойота Хайс, которой никогда не бывает на месте, что никого не удивляет: таких двенадцатиместных экземпляров в Конторе всего два. Обычно мы едем на пятиместном Форде Фокусе, правда, в этом «мы» никогда не бывает меня. Два следователя, Кривошапка и Дашкевич, оперативник Иванян или оперативник Скворцов и начальник группы Мостовой – вот, пожалуй и все. Машина укомплектована на все пять мест, включая водителя. Мостовой едет вместе со всеми, на переднем сиденье Фокуса, вполборота к сидящим на заднем сиденье, которых он оперативно вводит в курс дела, разумеется, в пределах поступившей на данную минуту информации.

Его собственное служебное авто, Форд Мондео, остается в гараже, и я в одиночку пытаюсь догнать быстроходный Фокус, вместе с подземным составом вырываясь вперед благодаря столичным пробкам и безнадежно отставая в переходах метрополитена и на пересадках с подземного транспорта на наземный, с троллейбуса – на автобус, с автобуса – на маршрутку.

Я не ропщу, по меньшей мере вслух, да и из головы стараюсь гнать прочь мысли о своей полной служебной никчемности. Мне нравится не напрягаться, но с унынием, наваливающимся на меня каждый раз, когда я снова чувствую себя лишним, я все еще не научился справляться. От отсутствия реальной работы мне хочется лишь одного – еще меньше быть на виду. Мне бывает смешно, а иногда до тошноты неприятно, когда я вспоминаю, что своим последним и единственным громким делом я могу считать убийство бабушки Горчаковой, преступление, которое я успешно довел до передачи в суд еще работая на Пресне.

Старушку зарезали в собственной квартире, и история утонула бы в архивной пыли, не будь бабушка достопримечательностью центра столицы. Ежедневно, вплоть до трагической развязки, она простаивала у памятника Юрию Долгорукому, демонстрируя зданию мэрии картонную табличку с надписью «Бывшей солистке Большого театра от москвичей и гостей столицы. На пропитание». Еще при жизни Горчаковой ее фото оказывалось на страницах газет, о ней судачили в Интернете, и когда, после двух месяцев напряженной работы, удалось выйти на след убийцы – им оказался челябинский внук старушки, посчитавший, что в Москве огромные деньги делают даже нищие, – начальство даже заикнулось о премии. Ограничилось дело устной благодарностью начальника следственного отдела Пресненского ОВД подполковника Нечаева: в министерстве заговорили о новой реформе и, как следствие, об урезании финансирования и о массовых сокращениях – какие уж тут премии?

Разумеется, случай Горчаковой есть в моем личном деле и даже допускаю, что Мостовой наслышан об этом нашумевшем три года назад убийстве. И все же мне хочется усилием воли научиться поднимать кровяное давление до предела, за которым неизбежен инсульт, когда я представляю, как Мостовой в лицо высказывает мне свои подозрения. Может, от этого у меня и сдают ноги и влажнеет под мышками, несмотря на и в самом деле отличную работу офисных кондиционеров. Я больше не хочу общаться с ним без свидетелей, оставаться один на один где бы то ни было – в его ли кабинете, в моем, в машине или даже на месте преступления. Хватит с меня и одного раза. Меня вполне устраивает мое положение и более того – я хотел бы, чтобы меня замечали еще реже. Я готов перевероршить еще с десяток журналов, если окажется, что и там отметился театральный критик Карасин, только бы не заниматься направлением, от которого – что профессионал понимает с первых часов расследования и без всяких доказательств, – зависит судьба всего дела.

Статьи Карасина ни на шаг не приблизят нас к раскрытию убийства. Это понимаем все в нашей группе. В этом уверен Мостовой. Мы с ним отлично поняли друг друга: он с отделом работает по сути дела, моя же задача – не мешать в эту самую суть вникать, для чего от меня требуется сущий пустяк. Поменьше мелькать перед глазами. Почаще пропадать из вида. Не высовываться. Создавать у Мостового впечатление, что меня нет и никогда не было в числе его подчиненных.

В конце концов, условия нашего негласного договора выгодны не только Мостовому – уж с его-то логикой это было нетрудно понять. Мой личный профит – спокойная и многолетняя работа в Следственном комитете, поступательное повышение в званиях и, чем черт не шутит, перевод в Главную Контору. В нашем с ним состоянии «ни войны, ни мира», пожалуй, слишком много пацифизма для ненавидящих и боящихся друг друга сторон. Он надеется, что мне невыгодно доносит слишком рьяно – слишком активных стукачей опасаются прежде всего те, кто их завербовал. Я рассчитываю, что он будет делать вид, что не замечает стукача в своем ближайшем окружении; достаточно держать меня на определенной дистанции, не отпуская, однако, из виду. Не прессовать, но и не делать из меня любимчика. Не допускать в мой адрес кляуз со стороны других подчиненных и, боже упаси, не жаловаться на мои проколы вышестоящему начальству. Ограждение меня от дел трактовать – если, конечно вопрос поставят ребром, – как поступательное вовлечение новичка в рабочий процесс, как закономерный процесс обучения безусловно одаренного, но малоопытного сотрудника, как бережное возвращение будущего Конторы на собственном опыте и примере.

Мы нужны друг другу, и чем больше я думаю об этом, тем очевидней, что для Мостового я – настоящая находка. Как ни крути, а от стукача никуда не деться, так не лучше ли с ним полюбовно договориться?

По крайней мере, на месте шефа я вряд ли бы думал иначе. Его проблема в другом: я – не стукач. И, если честно, не имею не малейшего понятия, кто в нашем отделе доносчик, и есть ли он вообще. Я не агент МВД, и не резидент Бастрыкина. И даже не представляю, как

к Багмету стекается неофициальная информация о работе подчиненных, а ведь кто-то должен эту информацию собирать?

Я – водитель мусороборочной машины из штата Айдахо, выигравший в лотерею триста миллионов долларов. Разница между нами в том, что тот втайне надеялся сорвать джек-пот, я же подавал бумаги в Следственном комитет лишь как улику на будущее. Как документально заверенное доказательство своего намерения выгнать семью из хронического безденежья, которое можно будет предъявить жене, когда ей вздумается предъявить мне новые обвинения по моему бесконечному семейному процессу.

После тяжелого дня мне стоило бы расслабиться, но удушающая жара и распугавшая бликами полумрак в большой комнате заставка программы «Пусть говорят» – не лучшие союзники для беззаботного времяпрепровождения.

– Невыдуманные истории, о которых нельзя молчать, – слышу я из телевизора.

На экране – ведущий Андрей Малахов. На нем черная рубашка и синие джинсы, он слегка небрит, а на переносице у него – очки в темной оправе. Он, как всегда, уйму времени провел в примерке, вот только мне странно и почему-то приятно оттого, что сегодня в его внешнем виде нет ничего, за что его можно было бы назвать смазливим.

– Повод печальный, – говорит Малахов, и я внутренне съеживаюсь.

Мне хочется исчезнуть, расплавиться от жары, а еще лучше, испариться. В собственном доме я чувствую себя как во вражеской крепости. Ответственность, которую я внезапно осознаю – пусть даже за просмотр телешоу – разрывает мне голову изнутри и одновременно стискивает ее снаружи. Я с удовольствием позаимствовал бы у своего семилетнего сына шапку-невидимку, которая для него – такой же очевидный факт, как для меня – подозрения Мостового. Убраться с глаз долой, раствориться, расплавиться – лишь бы меня не замечали. Только бы я никому ничего не был должен.

Малахов тем временем представляет гостей. Они сидят на трех черных диванах и почему-то их уже шестеро. Обычно их приглашают по очереди – выходит, я осведомлен даже о таких деталях презируемой телепередачи.

Ведущий говорит, что приглашал Кирилла Дыбского, главного редактора журнала «Итоги» и просит, видимо, телезрителей – иначе зачем смотреть в камеру? – отнестись к пониманию к тому, что тот ответил отказом.

Все остальные, получается, в сборе. С ходу узнаю актрису Догилеву и режиссера Виктюка. Малахов представляет Марину Райкину – тоже, как оказалось, театрального критика и телеведущую, и нашего представителя Маркина, который одарил меня взглядом, от которого я непроизвольно встряхнулся. Вживую я видел его не так уж часто, в последний раз – с неделю назад, когда застал его в коридоре, беседующего с Мостовым и начальником третьей следственной группы Решетовым. Я даже поздоровался – видимо, недостаточно громко и на меня не заметил даже стоявший ко мне лицом Мостовой.

Последних, сидящих на крайнем диване справа гостей, Малахов представляет и долго, и стремительно. Долго – ухоженную блондинку средних лет, фамилию которой я не запоминаю, в отличие от ее должности. Оказывается, она – генеральный директор театральной премии «Золотая маска».

– Последняя гостя в представлениях не нуждается, – говорит Малахов, – писательница Татьяна Устинова.

Устинова коротко кивает, а камера успевает выхватить трех сидящих в отдельных креслах, расположенных перед трибунами со зрителями гостей, из которых я узнаю актера Михаила Полицеймако (кажется, сына какого-то другого актера), Бориса Краснова, декоратора, или постановщика декораций, или может правильнее – сценического оформителя? Третьего я часто вижу в каких-то мелких, эпизодических ролях в кино, и почему-то мне кажется, что он даже в кино всегда такой, как сейчас в студии. Лысый, в костюме и в очках. Фамилии его я

не помню, он из тех актеров, которых не стремишься запомнить, но которые все равно не сходят с экрана.

Малахов предлагает вернуться к хронике преступления, и я, мысленно поблагодарив его, поднимаюсь с кресла. Иду на кухню, привычно ставлю чайник на плиту, и даже мысль о чашке горячего кофе при липнущей к телу футболке не вызывает у меня очередного приступа потогонного отделения. Кофе гораздо лучше визгливого репортажа с места события. Я даже закрываю дверь на кухню; у меня есть минуты две, чтобы самостоятельно восстановить картину происшествия.

Первый сигнал поступил позавчера, в субботу, 3 июля, в двадцать один час девятнадцать минут. Звонили в сорок седьмое отделение милиции на Пятницкой из ресторана «Вествуд» – это в Черниговском переулке, дом 3, корпус 2. В двадцать один двадцать восемь оперативная бригада уже была на месте. В первом же зале, куда попадаешь с порога ресторана, в дальнем левом углу, за четвертым, если считать от окна, столиком, и находился труп. Погибший, мужчина 40—45 лет, полулежал, прислонившись левым плечом к стене, и возможно, из-за этого не сразу обратил на себя внимания. По заключению экспертов, убит он был примерно за полчаса до обнаружения, если принять за основу, что в милицию позвонили сразу после того, как официант додумался потревожить притихшего посетителя. Последнему факту есть объяснение, которое Мостовой пока склонен считать отговоркой.

Погибший, театральным обозревателем журнала «Итоги» Дмитрий Карасин был постоянным посетителем ресторана. Из семи допрошенных на месте сотрудников «Вествуда» семеро подтвердили, что Карасин бывал в ресторане несколько раз в месяц, обычно по пятницам и субботам, столик всегда заказывал заранее, и всегда – один и тот же. Тот самый, за которым и был зарезан.

В эту субботу он позвонил около трех дня. Он всегда, по словам распорядителя, звонил в обед, и предупредил, что будет ровно в восемь. Опоздал он минут на двадцать, при этом резервацию столика никто и не думал снимать, при том, что соответствующую табличку официант вправе убрать уже после пятнадцати минут ожидания. Карасин был особым клиентом, и это опять же при том, что никакой вил-карты у него не было.

– У нас вообще нет никаких вил-карточек, – сказал, заметно нервничая, распорядитель. – Друзей ресторана каждый сотрудник обязан знать в лицо.

В заказ Карасина входила бутылка французского совиньона, салат «Цезарь» и горячее – стейк из черной трески с рисом. Есть он начал без пятнадцати девять, когда подали стейк, до этого, по свидетельству официанта, журналист лишь изредка потягивал вино, не прикасаясь к салату. Последующие двадцать-двадцать пять минут – роковой, как ясно теперь, промежуток времени – официант к Карасину не приближался. И уверял, что даже не смотрел в его сторону.

– Он так привык, – кивнул официант на опустевший после выноса тела стол.

Остальные опрошенные подтвердили показания официанта. После получения заказа Карасин любил побыть в одиночестве, без назойливого внимания персонала, желательно – вообще без чьего-либо внимания. Он всегда садился спиной к входной двери, лицом – в полутора метрах от угла зала; возможно, этот добровольный тупик перед глазами и не позволил ему среагировать на смертельную опасность.

Убийца почти наверняка приблизился со спины, а плохая освещенность столика журналиста – в ней Карасин, наряду с углом, в который упирался его взгляд, видел, должно быть, воплощение комфортного уединения, – лишь способствовала кровопролитию.

Крови, кстати, пролилось даже слишком много. Официант осмелился подойти к крайнему столику у стены, когда бутылка совиньона уже опустела почти наполовину, бокал был полон, салат почти доеден, а к рыбе едва успели приступить. Дополняла натюрморт длинная, во все горло, страшная рана на шее Карасина. Никто ничего не заметил: ни распорядитель, ни начальник охраны, одновременно ответственный за первый зал, ни даже обслуживавший журналиста официант.

– Камеры наблюдения на что? – встрял Дашкевич, перебивая Мостового.

До этого шеф долго и, надо признать, терпеливо допрашивал столпившихся полукругом в центре первого зала сотрудников ресторана, подавленный вид которых, несмотря на очевидные различия в одежде, сделал их неотличимыми друг от друга настолько, что нельзя было с уверенностью утверждать, кто главнее: распорядитель, начальник охраны или официанты.

– А камер нет, – развел руками распорядитель.

Мы невольно переглянулись: если ресторан в центре Москвы и может чем-то удивить, то только не собственным меню. Отсутствие вип-карт и камер наблюдения – совсем другое дело.

– Понимаете, концепция ресторана такова, – снова начал распорядитель и тут же запнулся. – Я хочу сказать... К нам приходят не просто поесть... Хотя и это... Само собой... Разумеется... – он стремительно бледнел и еще больше тушевался, чувствуя, как падает его авторитет в глазах официантов. – У нас можно побыть в одиночестве. Реальном одиночестве. Понимаете?

– Понимаем, – кивнул Мостовой, бросив взгляд на столик Карасина.

– Только у нас, – не заметив взгляда Мостового, воодушевился распорядитель, – можно провести время в полностью конфиденциальной атмосфере. Мы потому и камеры на ставили. У нас, – он кивнул на стоявшего справа начальника охраны, – самая профессиональная охрана...

–... и мертвые посетители, – перебил Мостовой.

Их дело было плохо, и они сами об этом догадывались. Распорядитель, официанты, начальник охраны и вся служба охраны – все они не могли надеяться, что перед тюремной камерой побывают дома. Владелец «Вествуда» господин Стариков – его в момент убийства не было в собственном заведении, – тоже может забыть о сне. В эти самые минуты, когда я, поджимая губы от недовольствия, возвращаюсь из кухни в комнату, все еще держа в руке опустевшую, но еще горячую от кофе чашку, Кривошапка и Дашкевич проводят первый допрос Старикова. Прямо в ресторане «Вествуд» и, можно не сомневаться, не за пустым столом.

От холодной водки в прохладном ресторанном зале я бы и сам не отказался, но зависти к коллегам я не испытываю. Мне и от происходящего на экране не по себе, даже страшно представить степень ступора, в который я впал бы, снимая показания с, возможно, главного фигуранта дела. Нет, к черту! Не хочу никому попадаться на глаза, даже Малахову.

Ведущий тем временем снова на экране. За время нашего короткого расставания он потерял мрачность, которую, как понятно теперь, он старательно нагонял перед началом эфира. Теперь его лицо выдает скорее внутреннее напряжение, что, впрочем не мешает ему говорить как всегда: быстрее и громче всех в студии.

– Паскудное дело, – говорю я вслух и понимаю, что совершенно прав.

Театральный критик – что может быть хуже. Известный, но не настолько, чтобы раскрытие убийства принесло бы нам стоящие висты. Более того, после задержания убийцы многие будут недоумевать. «Кто это?», будут спрашивать нас и друг друга, имея в виду уже подзабытого журналиста. Можно, конечно, тихо спустить дело. Как здравомыслящий профессионал, Мостовой не может обойти вниманием и такой вариант. Проблема, по большому счету одна. Загадочные обстоятельства убийства и особенно – эта жуткая рана во всю шею.

Пока эксперты заняты делом, ответа на вопрос, каким оружием Карасину едва не отрезали голову, у нас пока нет. Жаль, но экспертиза вряд ли ответит, можно ли такую рану нанести незаметно. Нанести, а потом еще и незаметно вынести орудие убийства из помещения.

Приехавшие по вызову менты сделали, кстати, все правильно. Сразу закрыли ресторан, задержали всех присутствующих для дачи показаний, опечатали кухню – сокровищницу ножей, вилок и топоров. Все это добро было вывезено на минивэне – для такого случая даже пригнали одну из Тойот, – и теперь тщательно анализируется в лаборатории.

Свалила милиция тоже вовремя. Когда я был на месте, а мои коллеги уже всю осваивали территорию ресторана, опергруппы с Пятницкой не было уже около пятнадцати минут, и по недовольству шефа я видел, что сам он был не прочь побеседовать с милицией не менее подробно, чем со свидетелями. От Мостового я узнал имя старшего опергруппы – майора Сафонова, и если это был тот Сафонов, о котором я сразу вспомнил, то лично для меня загадка профессионального и расчетливого поведения сотрудников рядового отделения милиции решалась с легкостью детского мата. В три хода.

С Мишей Сафоновым я полтора года работал в Пресненском ОВД, и, подозреваю, многие из моих бывших сослуживцев вспоминали именно его, когда узнали о моем переходе в СКП. Спорить не буду: моего жребия он заслужил гораздо больше меня. Даже не жребия – в его отношении это был бы всего лишь закономерный и справедливый этап в карьере. Заметили его быстро, и перевод Сафонова в МУР не стал вопросом времени, как, впрочем, и неожиданно. На Петровке он почти сразу получил майора, но потом влип в неприятную историю. Его запас везения закончился внезапно, а вместе с ним оборвался и Мишин блистательный взлет. Поговаривали о жене прокурора района, о шубе чуть ли не из уссурийского тигра, о миллионе депозите в одном из французских банков, даже о подозрительной смерти свидетеля – все это к Сафонову не имело, конечно, никакого отношения. Все, за исключением одного: Миша нырнул слишком глубоко, распугав до того момента безмятежно курсировавший косяк, в котором прокуроры неотличимы от уголовников.

За испуг районного прокурора и его жены Сафонова сослали в один из районных отделов внутренних дел, правда, к нам на Пресню его так и не вернули. Потом снова перевели, потом еще раз, пока Мишин след не растворился вместе с интересом к его судьбе. Так, наверное, забываешь о каждом, во взлете которого видишь свой взлет и отворачиваешься, стараясь не думать и о собственном падении.

Нужно отдать ему должное – хуже работать Миша не стал. В ресторане он, конечно, сразу все правильно оценил, и кухню опечатал скорее из стремления избавиться от неприятных вопросов с нашей стороны. Уверен, об отсутствующих камерах он тоже узнал первым, вот только спросить распорядителя, интересовалась ли милиция этим вопросом, я так и не решился. Мостовому тоже ничего не сказал, хотя и почувствовал нетерпеливое нытье в груди – так мне хотелось увидеть Мишу и завалить его вопросами. Я не сомневался – убийство он почти раскрыл, по крайней мере, мы не топтались бы в недоумении перед этой нелепой картиной: изуродованный труп и толпа бледных, пожимающих плечами сотрудников ресторана – то ли еще свидетелей, то ли уже подозреваемых.

Нетерпение я подавил, для этого мне хватило страха от пребывания в первых рядах. Все должно идти, как идет, решил я. То есть – без моего участия. В такие моменты у меня в ушах словно отключается дешифратор: я слышу звуки и голоса, но не в состоянии распознать их информационную наполненность. Словно гаснет прожектор, от которого я устал щуриться, и я оказываюсь во мраке, где чувствую себя как рыба в воде. Оттуда мне видно всех, меня там не видит никто. Кажется, это и есть счастье.

Мое счастье бывает редким и недолгим. В этом смысле телевизор – мощнейший прожектор прямо напротив моего лица, и от всех этих перебивающих друг друга голосов отворачиваться бесполезно: их все равно плотно утрамбуют в мои уши.

–...И это происходит каждый день, – доносится до моих ушей голос Романа Виктюка, несколько мгновений спустя после того, как я понимаю, что действительно вижу его на экране.

– В каждом спектакле, в каждой мизансцене, – продолжает он не без некоторой экспрессивности. – Актеры любят, страдают, гибнут. Гибнут! И пусть бросят в меня камень, если они не страдают, как их персонажи, не любят как персонажи, не гибнут...

– Вы сейчас говорите о...

– Мы говорим о жизни, Андрюша, – перебивает перебившего его Малахова Виктюк. – О жизни. Потому что актеры, – он молитвенно складывает руки, – перевоплощаясь, сами становятся другими людьми. Они – это уже не они, понимаете? И режиссер, – он трясет сложенными ладонями, – тоже себе не принадлежит, а вбирает в себя всех персонажей спектакля. Он становится ими, живет ими в каждый момент жизни, и умирает с ними.

– Просто то, что произошло, – быстро вставляет Малахов, – это не театр. Далеко не театр.

– Ничего подобного! – восклицает Виктюк. – Дайте мне закончить!

– Заканчивайте.

– Я заканчиваю! – возбужденно подпрыгивает на диване режиссер. – Я же о том и говорю! В сто крат больше, понимаете? В сто крат больше мы чувствуем людскую боль, потому что переживаем ее каждый раз. Каждый раз. Внутри. Внутри себя, – равномерно, словно в аккомпанемент с ударами сердца, он бьет себя в грудь. – Как мы можем не принимать чужую боль как свою? Мне кажется, только мы, да священнослужители – вот и все, кто на это и способен по настоящему.

– По вашему мнению, – перекрикивает Малахов раздавшиеся аплодисменты, – это могло быть убийство по профессиональным мотивам?

Вместо ответа Виктюк воздевает глаза кверху.

– Господи! – невероятно, надо сказать, убедителен он. – Неужели ты создал людей, пусть даже некоторых из них лишь для того, чтобы убивать себе подобных?

– Люди ежедневно убивают других людей, – выглядит раздраженным Малахов.

– Андрей! – говорит Виктюк, – это страшные дни. Прежде всего – для родственников погибшего. Во-вторых, для его коллег, и, кстати, правильно сделал редактор, что не пришел.

– Что тут правильного? – слышен возмущенный женский голос и камера переключается на сидящую рядом с Виктюком Татьяну Догилеву.

– Потому, Танечка, по-то-му! – переходит на надрыв Виктюк. – Дикое это происшествие. Дикое, бессмысленное.

– Вы считаете, бессмысленное? – кричит Малахов.

– Бесчеловечно! – кричит в ответ Виктюк. – Бесчеловечно вообще все тут! – он обводит студию рукой. – Обсуждать бесчеловечно! По крайней мере, самым близким людям, с которыми он работал в одном коллективе.

– Он публичная фигура! – вскидывает руку актер Полицеймако, и я вспоминаю, что его отцом был недавно умерший Фарада.

– При чем тут публичная фигура?! – яростно вертит головой Виктюк.

– Он никогда не был публичной фигурой, – тихо говорит критик Райкина, попав в крохотную паузу. – Наоборот...

– О чем вы говорите?! – не унимается Виктюк. – Человека убили! Че-ло...

– Любой журналист, – подается вперед Догилева, – публичная фигура. Так же как актер. А то хорошо придумали: актерам чуть ли, извините, не в трусы лезут...

– Не чуть ли, а лезут! – снова слышен голос Полицеймако.

– Нет, ну правда, – тербит себя за ворот Догилева. – а сами в белом!

Ну да – на Карасине была белая сорочка с короткими рукавами, вспоминаю я, и удивляюсь, что даже сейчас первое о чем я подумал – о ярком дизайне, об этом бесформенном коричневом, как мне показалось в полумраке ресторана, пятне во всю правую часть его груди. Память играет со мной, явно предпочитая черный юмор, настаивая на своей версии: кровавый след на сорочке – гвоздь модного сезона.

– Кстати, Татьяна! – уверенно овладевает словом Малахов. – Известно, что Дмитрий Карасин критично отзывался о ваших работах.

– Ну началось! – восклицает Догилева и срывается на смех.

– Освистать бы вас, Андрей, – говорит Устинова, – жаль, зрители у вас освистывают только гостей студии.

– За что? – криво и, кажется, растерянно улыбается ведущий. Такое впечатление, что замечание ему делают впервые в жизни.

– Вопрос не корректный, это во-первых.

– А я не успел задать вопроса.

– Хорошо, что не задали. Могли и вовсе оскорбить.

– Проблема-то вот в чем, – экран занимает крупный усатый мужчина, в котором я узнаю ведущего телевизионной лотереи, которую не видел уже много лет. «Русское лото», вспоминаю я название передачи и замечаю, что мужчина погрузнел и сильно поседел – должно быть, в последний раз я видел его лет восемь назад.

«Михаил Борисов. Режиссер, профессор» представляют его титры.

– Мне, например, совершенно непонятно, зачем нас всех здесь собрали. В том смысле, что это как-то мало похоже на вечер воспоминаний. Я не закончил! – поднимает он ладонь, и едва загнувшиеся зрители затихают. – Андрей, я помню передачу, посвященную памяти Бориса Хмельницкого, – Малахов охотно кивает, – и помню, с какой теплотой и искренностью вспоминали Борю. Сегодня же – буду рад, если ошибусь, – нас позвали не за этим. Не для того, чтобы вспомнить человека. Спросите любого из присутствующих: кто-нибудь, когда-нибудь хотя бы раз в жизни встречался с критиком Карасиным?

– Он был очень замкнутым человеком, – говорит Малахов.

– Многие из сидящих здесь – замкнутые люди, – говорит Борисов. – При чем тут замкнутость? Человека за пять, или сколько он писал, семь-восемь лет вообще никто не видел. Понимаете абсурдность ситуации? Театральный критик – человек, который должен быть в гуще процесса, вариться, что называется, в самой гуще этого нашего профессионального котла. Кто-нибудь вообще видел его? – вертит он головой, обращаясь к своим соседям.

– Я видела, – тихо говорит Догилева.

– Что, серьезно?

На мгновение в студию заявляется редкий гость – полная тишина.

– Мы обязательно вернемся к теме знакомства Татьяны Догилевой с Дмитрием Карасиным спустя минуту, – уверенно возвращает себе власть над студией Малахов. – Не переключайтесь: вас ждет сенсационное признание любимой актрисы.

Ведущий едва успевает договорить, он словно убегает, высоко поднимая колени, от наступающего на пятки рекламного блока. Меня же настигает очередная волна зноя. Скорее всего, она давно накрыла меня, но лишь сейчас, разбуженный грохотом из телевизора (от усиливающегося на время рекламы звука я каждый раз вздрагиваю), я чувствую, как у меня горят уши.

В ванной я поочередно подставляю уши прямо под кран – прекрасный, как выяснилось, способ на время забыть о жаре. Меня даже слегка пробирает дрожь; холодок волной пробегает по шее и испаряется чуть ниже лопаток. Выпрямившись, я чувствую, как в груди у меня словно что-то приколоты степлером – намертво, так, что вдыхаю я лишь полминуты спустя и с большой осторожностью.

С недавних пор я стал бояться смерти – забавная для потенциального самоубийцы история. Смерть, оказывается, двулична, и сейчас она не сводит с меня взгляда в своей самой бесчеловечной ипостаси – а разве есть что-то более человеческое ее иного, избавляющего от страданий лика? Я не в состоянии вдохнуть полной грудью, я до животного ужаса загипнотизирован взглядом смерти; выходит, она и есть самое жестокое, что может произойти в жизни. Страха смерти – вот от чего я не в силах сдвинуться с места.

И если я преувеличиваю, то можно сказать, что мои представления об этом страхе не намного превосходят его реальную силу. Я боюсь умереть в одиночестве, и этот страх разво-

рачивает смерть на сто восемьдесят градусов, от спасительного лика к трясущему предсмертным – в прямом смысле – ознобом образу.

Мои шансы упасть замертво в собственной ванной в последнее время существенно возросли, и, представляя, как мой труп медленно и издевательски разлагается – пока равнодушные соседи не проиграют битву невыносимому запаху на весь подъезд – я начинаю еще сильнее стучать зубами. Этой пытки я не переживу, и мне решительно наплевать на то, что упав, я уже не буду ничего чувствовать. Посмертное унижение – это и есть мой страх смерти, и я ни капли не верю, что не буду ничего чувствовать, когда куски разлагающейся плоти начнут отваливаться от костей.

– Это же чертовски больно! – кричу я и замечаю, что в ванной стало просторнее. Из груди ушла сковывающая боль, возможно, это я напугал ее своим криком.

На кухне я вытираю пот со лба кухонным полотенцем. Врачам я, конечно, показывался – этого требует моя работа. Оказалось, что обследование при поступлении на работу в Контору мало чем отличается от ежегодного медосмотра в Пресненском ОВД. Кажется, даже очередность посещения врачей та же самая: психиатр после окулиста, а общий анализ крови – после прощупывания мошонки в кабинете уролога.

Разумеется, я снова оказался годным. Вот только здоровым я себя не чувствую, и даже не представляю, как будут выкручиваться врачи, когда мой труп после недели поисков все же обнаружат в моей ванной.

– Знаешь, у меня неприятно жжет. Вот тут, – сказал я как-то жене и ткнул себя в грудь

– Это в тебе догорает душа, – не задумываясь, ответила она.

Это случилось года три назад и, признаюсь, у Наташи было достаточно оснований считать, что вместо сердца у меня – истлевший кусок угля. Она не могла забыть, как едва не протянула ноги (так, во всяком случае, утверждала она сама) от приступа пилонефрита, случившегося почти сразу после нашей свадьбы. Когда я вспоминаю тот случай, меня моментально клонит в сон: в минуты стыда во мне безотказно срабатывает этот совершенный механизм забвения, пусть и на время, собственной вины. Необходимость заботиться о беспомощной супруге стала для меня, свежеиспеченного мужа, таким же неприятным сюрпризом как запах помойки по дороге на пляж. Мне словно мне подарили деньги, которые пришлось возвращать с процентами.

Я и сейчас зеваю, и расслабиться мне не дает лишь голос Догилевой, медленно и настойчиво, как штопор, пробивающийся сквозь пелену моих воспоминаний. В мгновение, когда он вонзается в мой мозг, я срываюсь с места.

– Я и не утверждала! – влетев в комнату, слышу я и вижу взволнованную актрису. Что-то произошло, и она уже явно не в фаворе у публики: в гудящем зале зреет буря, и даже слышны отдельные истерические женские голоса, в которых, впрочем, не разобрать ни слова.

– Вы сами сказали, что однажды видели Карасина! – с обычной для себя громкостью возражает Малахов.

– Да нет! Ой, ну господи! – сильно подается вперед Догилева, словно собирается вскочить и выбежать из студии.

– Я прошу прокрутить запись! – вскидывает ведущий руку.

– Да нет же! Не нужно ничего повторять! Я знаю, что я сказала, я еще в своем уме. Андрей! – с агрессивной обидой в голосе восклицает Догилева. – Если уж я сюда пришла, давайте хотя бы относиться друг к другу с уважением... Да, я сказала, что видела этого журналиста. Мне, во всяком случае, так казалось в тот момент. Но пока шла реклама, вы пробовали этот ролик, – ее палец указывает куда-то вправо и вверх, – и я поняла, что это не он.

– Вы узнали его по фотографии, – подсказывает Малахов.

– Это другой человек.

– Я что хочу сказать, – вступает сидящий на ближайшем к дивану Догилевой и Виктюка кресле лысый человек в очках, которого как теперь ясно из титров, зовут Сергеем Арцибашевым. – Татьяна действительно что-то напутала.

– Вы хотите сказать, что были знакомы с погибшим?

– Да нет, при чем тут? – морщится от вопроса Малахова Арцибашев. – Не был я с ним знаком и тоже впервые вижу его у вас. В смысле, его фотографию, – кивает он вправо и оттого, что телевизор показывает общий план студии, становится понятно, что Арцибашев имеет в виду огромный экран, на котором нет ничего, кроме застывшего на красном фоне названия передачи. – Просто я слышал, как Татьяна, пока вы тут прокручивали, как я понимаю, материал, который сейчас покажете, ведь так?

На лице Малахова застывает напряжение, его явно не радует разоблачение гостями еще не увиденных телезрителями сценарных ходов.

– Татьяна, – продолжает, не дождавшись подтверждения Арцибашев, – даже пробормотала что-то вроде.. эээ...

– Не поняла, – говорит Догилева.

– Вот-вот, – подтверждает Арцибашев, – именно это она и сказала. А по-хорошему, какая разница, бил ты с критиком на брудершафт или, извините, бил его по морде? Нас всех зачем здесь собрали?

– Я все же хотела пояснить, – складывает руки на груди Догилева. – Я действительно считала, что сталкивалась с журналистом Карасиным. Оказалось, я ошибалась. Я была на спектакле во МХАТе. Теперь уже МХТ, правильно? Был премьерный показ и после спектакля мы встретились с Олегом Павловичем Табаковым за кулисами. Ну, как мы? Там был и Борис Невзоров, он тоже был на премьере. Были актеры, не занятые в спектакле – Мариночка Голуб, Дмитрий Назаров, замечательный Борис Плотников... И были несколько критиков за соседним столиком. В знаменитом мхатовском буфете все происходило, как вы понимаете... Я не помню, с чего началось, но эта вот статья про «Мертвые души»...

– Статья Карасина?

– Да, Андрей. Журнал оказался в руках Табакова. Он читал, – знаменитая догилевская улыбка озаряет лицо Догилевой, – читал долго. А потом взял журнал вместе с опустевшей бутылкой и положил под стол.

– Символично, – усмехается Арцибашев.

– И говорит со своей фирменной интонацией: «Вот в этом болоте его бы утопил!». Я-то считала, – напрягает актриса голос, соревнуясь с радостно загудевшей публикой в студии, – что автор за соседним столом. Олег Павлович не побоится, знаете, и в глаза...

– Но Карасина с вами не было? – уточняет Малахов.

Догилева лишь разводит руками.

– Татьяне Догилевой так и не удалось увидеть Дмитрия Карасина при жизни, – подытоживающим тоном говорит Малахов, – но у нашей программы есть сенсационный материал, проливающий свет на самую загадочную фигуру российской театральной критики. Дмитрий Карасин – кем он был? Внимание на экран.

– Дмитрий Сергеевич Карасин родился в одна тысяча девятьсот шестьдесят девятом году в подмосковном Фрязино», сообщает женский голос за кадром, а весь экран занимает фотография человека, в котором я не сразу узнаю потерпевшего. На снимке, который нам показал Мостовой, Карасин выглядел старше и все же худее трупа из «Вествуда». И все-таки высокий лоб и заметные залысины помогли бы без труда идентифицировать труп, будь у нас при себе тогда, в «Вествуде», эта более ранняя фотография.

– По окончании средней школы в родном городе Карасин уезжает в Москву, поступать в Щукинское училище. Эта его попытка не увенчалась успехом, как впрочем и следующая, через год, когда Дмитрий проваливает вступительные экзамены на факультет журналистики

в МГУ. Однако в том же году он успевает подать документы в Литературный институт имени Горького, успешно сдает вступительные экзамены, чтобы уже через год добровольно покинуть стены знаменитого вуза, в котором в разные времена преподавали и учились такие мэтры отечественной словесности, как Константин Паустовский, Виктор Астафьев, Фазиль Искандер, Роберт Рождественский... После возвращения во Фрязино Карасин пытался заниматься бизнесом. Он владел цветочным ларьком и даже пытался получить разрешение на открытие первого во Фрязино Интернет-клуба. Разрешение ему так и не выдали, а первый Интернет-клуб вскоре был открыт другим предпринимателем, как утверждают, племянником тогдашнего главы местной администрации. Из родного города Карасин снова уехал, на этот раз, как оказалось, навсегда. Жил он, предположительно, в Москве, перебивался, по всей вероятности, случайной работой, пока в девяносто шестом году в его руки не попал один из первых номеров нового проекта группы «Медиа-Мост» – структуры, владельцем которой на тот момент являлся ныне скрывающийся в Израиле от российского правосудия Владимир Гусинский. Как написанный Карасиным текст – а это был отзыв на спектакль Иосифа Райхельгауза «Уходил старик от старухи» с Марией Мироновой и Михаилом Глузским в главных ролях, – оказался на столе главного редактора «Итогов», до сих пор загадка. Тем более, что редакция специально не искала театрального обозревателя, да и задумалась над этим вопросом как раз после письма Карасина. Как бы то ни было, а рецензия Карасина с двусмысленным заголовком «Уходя – уходите» была опубликована, и с этого момента слава пока еще никому не известного критика побежала далеко впереди него самого. Первый же материал Карасина вызвал настоящий скандал. На автора посыпались обвинения в безвкусице и некомпетентности, а еще – в безнравственности и цинизме. Сам режиссер Райхельгауз публично назвал Карасина «подонком, развлечения ради сталкивающего стариков с платформы под колеса прибывающей электрички». «Спектакль Иосифа Райхельгауза», писал Карасин, «возможно, первый пример успешной адаптации бродвейской модели на русской почве. Пьеса словно пошита по изрядно ссутулившимся фигурам двух легенд отечественной сцены. Живых легенд – так и тянет вписать избитую фразу, и это, возможно, главное свидетельство американского подхода к российской постановке. Пока живы оба исполнителя главных и единственных ролей в спектакле, жив и сам спектакль. Спектакли», продолжал автор, «сами по себе не вечны, но в данном случае мы имеем дело с совершенно четко запрограммированным жизненным циклом, и в этом – главная творческая и, так уж совпало, коммерческая находка создателей постановки. «Надо посмотреть, пока живы», думает зритель, разглядывая театральную афишу, и рука сама собой, как при виде малолетнего попрошайки, тянется в карман за кошельком». И хотя Карасин нигде в той, считающейся теперь классикой российского провокационного театроведения рецензии не утверждал, что пьеса Семена Злотникова написана специально для Мироновой и Глузского, оппоненты в один голос укоряли автора в вопиющем незнании того факта, что еще в тысяча девятьсот семьдесят пятом году пьеса впервые была поставлена в Ленинграде, в Театре на Фонтанке, а постановка Райхельгауза стала лишь третьей по счету. Карасин, и это было его, можно сказать, фирменным знаком, никогда не отвечал на нападки недоброжелателей, коих за почти пятнадцать лет его работы в журнале «Итоги» набралось немало. Да и работой в журнале, в ее классическом понимании, это назвать было нельзя. Большинство сотрудников редакции никогда не встречались со своим коллегой, поговаривают, что и сам Кирилл Дыбский, главный редактор журнала, виделся с Карасиным считанное число раз. «Невидимка в кругу врагов» – так назвал Карасина известный критик Роман Должанский. И действительно, наверное, нет в России театра, не искусанного острыми и бескомпромиссными рецензиями Дмитрия Карасина. Для него не существовало авторитетов, он мог назвать спектакль «барометром достоверности» за успешную, на его взгляд, постановку и разнести в пух и прах следующую же постановку того же режиссера, охарактеризовав ее как «океан пошлости». В кулуарах перед премьерными

спектаклями всегда говорили о нем и искали его глазами. Человека, которого никто не знал в лицо. Без него театральному миру будет спокойнее. И – гораздо скучнее».

Шквал аплодисментов накрывает студию. Оказывается, я все еще стою в дверях большой комнаты. За последние пару минут я увидел фасад Щукинского училища крупным планом и Литинститут издали, совершенно круглое и такое знакомое лицо Райхельгауза, о котором я и не подозревал, что он – знаменитый театральный режиссер, множество популярных артистов, почему-то в банкетной обстановке, во фраках и вечерних платьях и с бокалами шампанского, и, наконец, фотографию Карасина, с которой и начался сюжет. Остальное – наспех скроенные обрывки биографии, подлинной и домысленной, а также оценки, слухи и, видимо, просто ложь. В любом случае, все это имеет такое же отношение к сути дела, как и мое участие в нем.

Что же, мне не привыкать. На утренней планерке сон поджидает меня именно тогда, когда мыслительные реакции моих коллег достигли, вероятно, наивысшего напряжения. Дашкевич докладывал о результатах первых допросов супруги и соседей жертвы, когда я почувствовал, что засыпаю. Еще немного, и огромный кабинет шефа наполнился бы оскорбительным храпом – оскорбительным, прежде всего для Дашкевича, Иваняна и Скворцова, снимавших показания весь воскресный день. Тогда-то я и сдался и, как ни удивительно, расслабленность помогла мне задержаться в фазе, я бы сказал, невосприимчивого бодрствования. Я не спал и прекрасно слышал Дашкевича, но его слова имели для меня такую же ясность, как голоса во сне. Дело проплывало мимо меня, как вражеские ладьи мимо тел отравленных воинов на берегу. Мне ужасно хотелось домой, а сейчас меня больше всего тянет на улицу, прямо в окутывающий зной, чтобы через два квартала вынырнуть из него в бар «Флибустьер», мое единственное ненавязчивое пристанище.

К сожалению, в баре никогда не показывают Первый канал, только Эм-ти-ви или Евро-спорт, а подрывать репутацию угрюмого и щедрого молчуна я не стану даже ради выполнения служебного задания. Мой неизменный, со дня поступления на работу в Контору, спутник, ничем не выделяющийся на вид среди современных смартфонов оповещатель «Йота», как и полагается сотруднику моего ранга, не обладает функцией приема телевизионных сигналов. Аналогичный аппарат Мостового показывает до двадцати шести каналов, в цифровом, разумеется, качестве и Интернет на скорости до десяти мегабит в секунду. Мой минимальный набор – мобильная связь, оплачиваемая Конторой (правда, не более 1200 рублей в месяц) и карта GPRS – удобная вещь, но мало применимая, поскольку служебного автомобиля мне тоже не положено. Да, и собственно оповещатель, блокирующий все остальные функции при срабатывании централизованно рассылаемого оповещения. Сообщения относятся ко всем без исключения отделам и группам СКП по Москве, и мне ничего не оставалось, как в отместку за сотню звуковых сигналов в день отключить звуковой сигнал, позволив «Йоте» при приеме очередного сообщения лишь беззвучно трепыхаться в моем кармане. Стоит ли уточнять, что сообщения я перестал читать после первой недели работы в Конторе?

Этим вечером я – пленник своего телевизора. Поэтому я валюсь на диван в надежде, что продолжение телевизионного фарса затронет во мне те же нити, что и доклад Дашкевича, и мне хотя бы немного удастся отдохнуть.

Я ошибаюсь.

– Мария! – обращается Малахов к видной блондинке средних лет из премии «Золотая маска». – Дмитрий Карасин неоднократно критиковал вашу премию и вообще, фестиваль.

– Ну, он, насколько я помню, крайне настороженно относился ко всяческим премиям и наградам.

«Мария Ревякина», подсказывают мне титры и я, спохватившись, вскакиваю, чтобы взять со стола оповещатель – записать в него имена заглядывающих ко мне с экрана гостей.

– Он и «Хрустальную Турандот»-то не жаловал, и даже ведущие театральные премии мира, те же «Тони» или «Драма Деск». Так что, – пожимает плечами Ревякина, – мы были далеко не одиноки в его антипатиях.

– Вы не пробовали пригласить его в жюри вашей премии?

– Зачем? У человека была позиция. Он, по-моему, глубоко презирал так называемое коллективное мнение. Возможно, за каждым таким коллективным решением ему виделся сговор. Не знаю, я тоже не была с ним знакома. А может, наоборот. Может, он считал, что коллективное мнение – антипод мнения личного, а ничего выше своего личного мнения он не ставил.

– Мария, я добавлю, если позволите, – поднимает, как школьница, руку Марина Райкина. – Совершенно верное, на мой взгляд, замечание сделала Мария. Насчет личного мнения Дмитрия Карасина. Но беда-то в том, что это мнение ничего оригинального не содержало. Вы почитайте внимательно его колонки, – она начинает загибать пальцы, – социальный подтекст, коммерческий подтекст, та актриса – любовница этого режиссера, этот режиссер – извините, гомосексуалист, тот актер – пьяница и так далее и так далее.

– Что-то не припомню, чтобы он писал про любовниц, – говорит Борисов.

– Это так, образно, – взволнованно поправляет прическу Райкина. – Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я что хотела сказать? А где собственно рецензия? Где профессиональный, непредвзятый взгляд на действие? Отрешенный, если хотите, подход к искусству?

– Он делал вполне профессиональные рецензии, – пожимает плечами Борисов. – Другое дело, что я совершенно не согласен с большинством его оценок, но это не мешает признавать в нем профессионала. Я поэтому, Андрей, и сказал в начале программы, что критику негоже сидеть, знаете ли, где-то на даче, пусть даже перед компьютером, подключенным к Интернету и считать, что ты – в эпицентре событий. Критик должен общаться со своими коллегами, такими же критиками, с режиссерами, драматургами, актерами, даже с рабочими сцены. Это может не добавить ему профессионализма, но в то же время такое тесное общение способно полностью перекрыть, что называется, его личное мнение, раз уж мы такое большое внимание уделили этому понятию.

– А как он вообще смотрел спектакли? – спрашивает Малахов и несколько раз переводит взгляд, не находя желающих отвечать. – Кто-нибудь знает?

– Ну, не по телевизору же, – откликается Борисов. – По телевизору если и показывают, то только по кана...

– По известному федеральному каналу, – быстро перебивает Малахов.

– Да, по другому сами знаете какому каналу, – усмехаясь, кивает Борисов. – Но и то, это капля в море. Посещал, конечно, премьеры и, наверное, не только громкие. И не только на те, о которых писал. Но опять же, ни с кем не общался, совершенно не стремился к этому. Такой, знаете Зорро от журналистики. Соответственно, и его в лицо мало кто знал, хотя многие, видимо, были не прочь по этому лицу надавать. Но не идти же, я не знаю, в редакцию и клянчить его фотографию. А что касается беспристрастности, о чем говорила Марина... По-моему это утопия. И вообще, неправильный подход. Мы все существуем в определенной среде, хорошая она или плохая – это другой вопрос. Наши близкие, наши друзья, наши недруги, коллеги, просто прохожие – все это влияет на то, что мы делаем. Я имею в виду профессиональный аспект, да? Как можно смотреть спектакль в отрыве от контекста? Любого – социального, личного, вернее, всех мыслимых аспектов в совокупности.

– Зритель не хочет контекстов, – возражает Райкина. – Зрителю, простите, хочется искусства, у него уже вот здесь, – она проводит ладонью по горлу, – все контексты в совокупности. Он приходит в театр как раз для того, чтобы на пару часов побыть вне всяких контекстов.

– Зрители, – перекрикивает аплодисменты Борисов, – зрители платят деньги, кстати немалые, и имеют полное право. А вот критикам деньги платят. Критик, идущий в театр, как говорят в одном сами знаете каком городе, «на посмотреть» – просто халтурщик. Не хуже

о спектакле сможет рассказать любой зритель, который, в отличие от критика, за просмотр зрелища теряет деньги, а не зарабатывает на нем.

Этот раунд остается за Борисовым – публика не жалеет ладоней. Даже, кажется, находит удовольствие в ожесточенном рукоплескании.

– Мы все виноваты, – напоминает о себе Виктюк, когда овации стихают.

– Вы имеете в виду театральную общественность? – оживает Малахов. В его глазах вспыхивает потухшая было искра.

– Мы, – кивает Виктюк, – это все сидящие здесь. Все в космосе взаимосвязано и сорок дней, пока душа пребывает между небом и землей...

– Через сорок дней это будет никому не интересно, – кричит с места Полицеймако, пока Виктюк продолжает говорить. Что именно – уже не разобрать.

– Вот! – подхватывает Борисов. – Вот я и хочу, чтобы мне ответили на вопрос, который я задаю уже второй раз.

– Кого вы просите ответить, Михаил? – спрашивает Малахов.

– Вас. Зачем вы все-таки нас всех собрали?

– Я...

– Не для того ли, чтобы узнать, как нам всем, – он широко расставляет руки, – досаждал покойный, разве не так?

– Надеюсь, это ваше личное, а не коллективное мнение, Михаил, – натянуто улыбаясь, выдает Малахов металлическим голосом.

– Нельзя. Было. Делать. Эту. Передачу, – делает ударение на каждом слове Виктюк. – По крайней мере, сейчас.

– Тем не менее, – говорит Малахов, – мы можем прямо сейчас, в прямом эфире, узнать подробности расследования этого загадочного преступления. Из первых уст – от официального представителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Сразу после рекламы. Не переключайтесь.

Я переворачиваюсь на спину и вижу трещины на потолочной штукатурке. Они смотрят на меня с детства, смотрят каждый раз, когда я лежу на диване в большой комнате. В последний раз ремонт в нашей квартире делали лет двадцать назад, и я отлично помню эти счастливые моменты. Весело шуршащие под ногами газеты, сладковато-удушливый запах клея и самодельная пилотка из пожелтевшего номера «Известий». Диван стоит посреди комнаты – так было еще до ремонта, и я не вижу причин, по которой мог бы его притеснить, сдвинув к стенке. Он занимает то положение, которое я отвожу ему в своей жизни, по крайней мере, пока я дома.

Я улыбаюсь трещинам на потолке и с удовольствием впускаю в свою голову заботливые рекламные голоса. Когда я присяду, мне хочется, выслушав Маркина с полминуты, обернуться назад и увидеть застывшую за спинкой дивана Наташу. Мы – я и Маркин – будем совершенно спокойны, и плевать, что на фоне бедлама в студии нашу принадлежность к одной организации можно будет распознать по одному лишь ледяному хладнокровию. Я даже немного завидую Маркину. Для него этот эфир – как вечерняя прогулка по морскому побережью: от встречного ветра не кутаешься, а наоборот – подставляешь ему прокопченное дневным солнцепекотом лицо. Ему, я знаю, не станут портить настроение вопросами о погибшем в Бутырке юристе Магнитском, из-за которого теперь у Главной Конторы – большие проблемы, и не только в отношениях с МВД. Несколько общих фраз будет достаточно; его голос, уверен я, будет звучать в полной тишине и нанизывать рассыпавшиеся бусины событий на нить привычного миропорядка.

«Проводятся оперативные мероприятия... мобилизованы лучшие силы... есть серьезные зацепки... за последние сутки...». Это барьер Маркин возьмет без прыжка – это тот редкий случай, когда барьер сам опрокидывается перед тобой. Он знает, не может не знать, что по другую сторону экрана на него смотрит по крайней мере одна пара понимающих глаз. Мы с ним –

одно целое, только я – снайпер, а он – насадка, подводящая жертву под удобный для моего выстрела ракурс. И хотя с жертвой я пока не определился, я уверен – жена по достоинству оценила бы наше виртуозное взаимодействие.

Тем удивительнее, что я даже не пытаюсь поднять голову с дивана, а тем более обернуться к супруге.

Не к кому оборачиваться.

2

Жена бросила меня, не дотерпев трех месяцев до моего взлета. Нет, ее уход не прозвенел для меня финальным гонгом. Бесповоротно, но медленно я вызревал для смены работы и не был готов бросить милицию в одночасье, внезапно и пронизывающе протрезвев от опьянения уютной безнадежностью службы в районном отделе. Мне нужно было время, и я не ушел бы, даже если бы Наташа вдруг умерла, оставив меня с двумя маленькими детьми.

К счастью, она не умерла. К несчастью, она забрала детей. Забрала, и лишь после этого объявила, что уходит, хотя одно событие от другого отделяло не более двух часов. Детей она успела эвакуировать – как руководство штаба в преддверии неминуемого окружения противником – к этому своему новому. Мне лишь оставалось признать, что к разрыву наших отношений Наташа успела подготовиться гораздо удачнее, чем я – к смене места работы.

– Последний раз спрашиваю, где дети? – делал я вид, что еле сдерживаюсь, чтобы не завопить.

– Ты сам прекрасно знаешь, что с ними все в порядке, – отворачивалась она, умело пряча волнение, притворяясь, что озабочена сбором вещей.

Мы прожили вместе восемь лет – достаточный срок, чтобы Наташа была уверена: я не посмею поднять на нее руку даже в такой ситуации. Просто она впервые бросала мужа, а ведь даже прожженные стервы, уходя, не всегда совладают с эмоциями. Наташа же стервой никогда не была.

Мне этих восьми лет хватило, чтобы знать наверняка: с Наташей детям при любом раскладе лучше чем со мной и наше с ней объяснение закончилось моей предсказуемой капитуляцией. Я поджимал губы, бесталанно изображал гнев и чувствовал странное опустошение оттого, что совершенно не зол на Наташу. Я даже сдерживал приступы зевоты и все же, пожалуй, не на шутку перепугался, если бы знал, что детям грозит опасность. С Наташей это было исключено, вот я и придурился, как умел.

И все же я ощущал легкое досадливое удущье оттого, что одним своим решением Наташа поменяла мой окрас в глазах любого случайного очевидца. Мы могли клясться друг другу в дружеском нейтралитете, но все договоренности имели бы не больше веса, чем социальные гарантии в период мирового кризиса. Мы стали, как ни крути, врагами, а значит, я оказался по другую сторону баррикад от собственных детей. Меня вычеркнули из лагеря Добра, изгнали неожиданно и без предупреждения. Наташа ушла, а я боялся взглянуть в зеркало. Казалось, меня там подкарауливает силуэт без лица и четких очертаний, черный, как моя обуглившаяся душа, или еще хуже – бледное и безвольное лицо с сонными глазами.

Еще больше я боялся, что увижу в покрасневших и мутных глазах отчетливое осознание того, что правда осталась по другую сторону баррикад – вместе с женой, детьми и Всемирным Добром. Наташа была права, взяв детей в заложники, чтобы не делать их заложниками нашей финальной сцены, которая мне, как и все остальное, не слишком-то удалась. Я даже умудрился представить, еще изображая из себя униженного ревнивца, образ нового возлюбленного жены – низенького, полноватого и добро улыбающегося человека с заметной лысиной на круглой голове. Мое воображение без подсказок справилось с фотороботом доброго дядюшки, готового по первому слову отправиться с капризными чадами в лучший во всей Москве парк аттракционов, даже если для этого придется ехать через весь город.

Этот добрый увалень был моим профессиональным позором. Свою связь Наташа сохранила в тайне до самого дня развязки, который, между прочим, также был выбран ею. Мне было страшно подумать о том, сколько времени мог продолжаться их роман, и что она чувствовала, возвращаясь домой с двумя натянутыми внутри нее струнами – необходимостью во что бы то ни стало оставить меня в дураках и тенью любовника, отпечатавшейся на ее прекрасном теле.

Я до сих пор мысленно просматриваю эпизоды нашего общего прошлого – наши семейные вечера, и не нахожу ничего, кроме банального и пугающего открытия: память выветривается гораздо быстрее, чем желтеют фотографии. И все же я точно помню, что могло бы, вспыхни во мне хотя бы искорка пронизательности, выдать Наташу. После горячих свиданий она – и теперь я это знаю точно, – путала следы своей собственной предсказуемостью. Не сдавалась приливам чрезмерной заботы, привычно дозируя ласки, и даже в гневе не переходила давно знакомого мне Рубикона. По большому счету, мне устроили профессиональный тест, который я грандиозно провалил: не расколов собственную жену, нет никаких шансов поймать совершенно не известных тебе преступников.

Впрочем, за восемь лет Наташу я изучил из рук вон плохо и, может, хотя бы это послужит оправданием моей вины в нашем разводе.

– О, новая кофточка? – восклицал я, а она даже не фыркала в ответ. Только одаривала меня непроницаемым, из-за почти прозрачной голубизны ее глаз, взглядом.

Тогда я подходил к ней со спины и наклонялся, чтобы поцеловать в шею, а она легко выскальзывала из моих объятий – возможно, потому, что целовать ее мне совсем не хотелось.

– Кофточке уже три года, – бросала она, не оборачиваясь и выходя из комнаты.

Нужно отдать Наташе должное. Она еще жалела меня и не уточняла, что купила кофту на собственные деньги. Я вообще не помню, чтобы покупал ей что-нибудь из одежды и вполне мог бы воспользоваться этим аргументом для оправдания своей забывчивости. Вот только, боюсь, у нее контраргументов нашлось бы побольше. И первый из них – моя зарплата, иссякавшая за полторы недели. Моя ничемная милицейская зарплата, она была моим проклятием и моим стимулом. Она изводила меня, я же обрекал на страдания жену и зрел для смены работы.

Часто я представлял, как возвращаюсь домой с орденом на груди – про подвиг с риском для жизни, представлял я, Наташа до награждения не узнает, – и как меня ожидает это опустошительное разочарование: Наташин испуг и гнев за едва не оставшихся сиротами детей. В ее глазах я стал бы непревзойденным героем, если вместо ордена принес бы домой двойной оклад. Я был бы на пике триумфа, и даже не пытался спорить с женой о природе подлинного геройства. Не спорил, но и решительных шагов не предпринимал. Я зрел, а первой спелым яблоком с ветки сорвалась она. Упала и покатилась прочь, оставив меня одного в теперь уже бывшем семейном гнезде.

Между прочим, ставить вопрос о квартире Наташа даже не пыталась, о чем, впрочем, можно было догадаться. В ее положении – с двумя детьми на руках, – собственная жилплощадь прочно занимала второе место в списке преимуществ нового избранника, после пункта первого – отсутствия штампа в его паспорте. Квартира, которую моему отцу выделили в восемьдесят шестом году, полагаю, успела ей порядком надоесть, и не только потому, что Наташа никогда не чувствовала себя в ней полноценной хозяйкой. После рождения Леры даже я стал ощущать непривычную тесноту жилища, в котором знал на ощупь каждый мелкий бугорок на стенах, где мог по звуку шагов определить с точностью до сантиметра местоположение любого члена семьи. В квартире вызревал, как мое решение о смене работы, полный упадок, и поступательная медлительность разрушений угнетала Наташу даже больше, чем если бы нас накрыл внезапно обрушившийся потолок. Наташа, хотя и решилась на развод, не страдала мелочностью, и мне стоит больших усилий представить, что она стала бы выжимать меня на улицу даже в более благоприятной для себя начальной расстановке: если бы квартира была плодом совместных усилий ее и моих родителей. Да и задумалась бы она о разводе, будь наши родители столь состоятельны, чтобы позволить себе купить детям квартиру в Москве?

Признаюсь, я часто жалею, что родился именно у своих родителей. В последних классах школы я даже ненавидел их, представляя, как, зачиная меня, они упивались друг другом, как

отец стонал, извергаясь мной и совершенно не думая обо мне. Возможно, лишь по счастливой случайности я не был спущен на простынь, а затем – в корзину с грязным бельем.

В восемьдесят девятом году отец решил покинуть Москву. Мать не возражала – она, сколько я ее помнил, никогда не смела ему перечить, и даже ее женские уловки неизменно оканчивались тем, что отец лишь укреплялся в своей власти. Даже в академической среде, где он чувствовал себя куда больше в домашней обстановке, чем дома, царила менее строгая иерархия.

К тому времени отец уже был доцентом, десятью годами ранее защитив диссертацию кандидата филологических наук, и для нас – для матери с замужества, а для меня – с рождения, – его научная карьера была единственным маяком, по которому в нашей семье безошибочно определялся ее глава. Остаток жизни, как признавался отец, этот еще далекий от старости сорокадвухлетний мужчина, он намеревался отдать краеугольным вопросам современной русской филологии; во всяком случае, именно этим, сформулированным им же вопросам отец придавал столь важное значение.

Сделать это в Москве отцу казалось невыполнимым. Ему мешали соседи с третьего этажа – там крутили «Веселых ребят» и группу «Автограф», – мешало метро, которое, как утверждал отец, сотрясало его стол как раз в те минуты, когда в его голове зарождались судьбоносные для отечественной науки мысли. Ему мешали очереди перед совершенно пустыми прилавками магазинов, мешали люди, мешал город.

Отец что-то понимал, видел как его более расторопные соратники бросали все — карьеру, кафедру, а некоторые даже жен, и сквозь едва приоткрывшиеся двери страны протискивались за границу первым же самолетом. Из всего этого отец сделал важный вывод, и этот вывод был, увы, неверным. Никому его труды на Западе были не нужны, в них не было и намека на коммерчески перспективную антисоветчину, и опубликовать их за границей даже на безупречном академическом английском было еще труднее, чем английскому почтальону вместо утренней «Таймс» просовывать под дверь толстую бандероль.

Несмотря на заслуженную репутацию думающего ученого, что еще пару лет приносило отцу деньги и гораздо более ценное им моральное удовлетворение, отец не был прозорливым человеком, и летом восемьдесят девятого мы переехали в подмосковное Селятино. Вернее, в окрестности этого рабочего поселка, на старую фамильную дачу, доставшуюся отцу от деда, который, кстати, в свои семьдесят три еще и не думал сдавать позиций. По крайней мере, он чувствовал себя подлинным хозяином дома, несмотря на слабые ноги и пестрый букет старческих заболеваний. Надо отдать деду должное: после нашего переезда он не стал лицемерить и с первого же дня заявил о себе как о совершенно несносном старикане, забота о котором легла на мать куда более гнетущим бременем, чем обслуживание отца.

Я ненавидел лекарственный смрад нашего нового дома. Возможно, это и стало поводом для моей внезапно пробудившейся тяги к самостоятельной жизни. В моей жизни словно затмили солнце, а дача, в детстве казавшаяся мне солнечным островом посреди изумрудного океана зелени, теперь преграждала мне путь как дерево поперек лесной тропы. Именно такие деревья, распиленные до полен, мать заносила домой, чтобы отапливать ими печь: других вариантов спасения от холода на даче не было предусмотрено.

Даже сейчас, вспоминая свой дачный период, я задерживаю дыхание. Точно также я поступал, переступая порог этой мрачной обители медикаментозных джиннов, вырвавшихся из своих тесных ламп – всевозможных тюбиков, флаконов и ампул. Мой изумрудный остров сгинул вместе с детством, и сегодня мне кажется, что в холодные дожди в Селятино сменялись непролазными сугробами, после которых снова заряжали ливни, а солнечных дней будто и вовсе не было.

В Селятино мне пришлось учиться в средней школе №2, до которой я ежедневно топал почти час, и это только в один конец. Впрочем, в школе мне нравилось. Одноклассники не счи-

тали меня столичным задавакой, не завидовали и не злились, в отличие от бывших московских одноклассников, у которых повода выразить свой гнев было еще меньше: несмотря на папу-ученого, я ничем не старался выделиться в их среде.

Отец и не пытался мне помочь, и даже сам факт разговора о переводе в более престижную школу был бы, полагаю, воспринят им как попытка прервать его собственный взлет; перспектива же такого триумфа была для него делом решенным. Свое участие в моей судьбе он, вероятно, считал исчерпанным плодотворным сношением с матерью, и, будь я более решительным в озвучивании своих мысленных претензий к нему, он, возможно, и в самом деле настаивал бы на моей благодарности за то, что в свое время не кончил мною на смятую простыню.

Единственное, что отец привил мне с детства, не прилагая к этому никаких усилий, была любовь к книгам. По-другому в нашей завешанной книжными полками квартире и быть не могло, как не могла родиться у меня любовь к чтению в ее привычном понимании. Это и не было пристрастием к чтению, любил я именно книги. Текстура переплета, шелест страниц и особенно то, как книги пахли – так похоже и так по-разному, совсем как женщины, в чем я убедился впоследствии, – все это помогло мне осознать в себе самца. Я касался корешков и чувствовал, как внизу живота у меня образуется воронка, в которую, как из верхней половинки песочных часов, просачиваются мои чувства через единственный и узкий выход. Пару раз я мастурбировал на беззащитные страницы и, кончив, быстро захлопывал книгу, лишь создавая себе лишние трудности с устранением следов.

Книги пахли по-особенному, особенно старые книги. Даже резкий их запах отличался глубиной, словно книгоделы прошлого точно знали секреты книжных ароматов, со знанием дела подбирали их под нужные тексты и не отправляли тираж в печать, пока не находили достойного ароматического «послевкусия». После книг я не мог нюхать газеты – они били в нос плоскими запахами, которые уже через минуту выветривались из памяти. Что, однако, не мешало мне эти газеты читать.

По большому счету, на газетах конца восьмидесятых – начала девяностых и состоялось мое образование. Много лет у меня хранился номер «Независимой газеты» с безликой картой Советского Союза на первой полосе и заголовком «Ядерная мощь СССР: на земле, на море и в воздухе». Тогда, на закате Перестройки, обнародование секретных данных страны считалось одним из неизбежных предвестников перехода к рыночной экономике, и не заполучить такую газету в свой личный архив я, конечно, не мог.

Как не мог я не собрать толстую газетную подшивку по следам августовского путча. В ней, пожалуй, не хватало лишь легендарной «Общей газеты», зато была «Комсомолка» с шапкой «Янаев Г. слишком часто представлял себя на месте президента» и «Аргументы и факты» с навсегда запавшей в мою память фразой о троне из штыков, на котором долго не усидишь. «Трон из штыков» – так я планировал назвать роман о событиях августа девяносто первого и бережно нанизывал на скобы скоросшивателя газеты, верных помощников моего так и не случившегося шедевра.

Исчезли мои подшивки незаметно, вероятно, одновременно с тем, как я потерял к ним всяческий интерес. Что, впрочем, совсем не означало, что я переключился на более основательное чтение.

После переезда на дачу большую часть библиотеки отец оставил в Москве, совершенно не переживая о судьбе дорогих его сердцу книг, имея на то по меньшей мере две веские причины. Во-первых, квартиру было решено не сдавать – подобное решение отец счел мелочной глупостью, особенно в преддверии своего скорого успеха. Во-вторых, теперь отец нередко оставался на пару дней в Москве, что маме приносило пусть кратковременное, но облегчение. Чем дальше, тем больше отец раздражался, и перед каждым отъездом в Москву он подолгу укорял домочадцев, не переходя, однако, на личности, в отсутствии должного к нему понимания,

а также в чрезмерной суете, которую вынужденные делить с ним один кров люди создавали вокруг него – человека, так нуждавшегося в почти стерильной тишине.

Весной девяностого мне стукнуло четырнадцать. Время для первых бесед о сексуальном воспитании было безнадежно упущено. К тому же родители и не пытались затрагивать тему, одного намека на которую было достаточно, чтобы разбудить во мне страдающего до ближайшей мастурбации зомби. Я часто возбуждался, но еще не был в состоянии связать тикающий внутри меня механизм с обыденными поступками. В ином случае я бы задумался о том, о чем догадываюсь сейчас, а именно о том, что отлучки отца в опустевшую московскую квартиру, возможно, имели и другое объяснение.

Я даже вижу, как он капитулирует перед очередной любовницей (почему-то в отношениях с женщинами мой железный папаша всегда казался мне неумехой и эгоистом) и в эти минуты прозрения брезгую нашим диваном, стараюсь держаться от него на расстоянии хотя бы пары шагов. Впрочем, в былых изменах отца я чувствую не больше резкости, чем в мешочке с лавандой, много лет назад заброшенном в шкаф для борьбы с молью, а вот из мамы, уверен, запах обид выжал немало слез, которые никому из нас – ни мне, ни отцу, ни тем более деду – она так и не решилась продемонстрировать.

Не знаю, стал бы я более смелым в общении с девушками, если бы думал об отце так, как думаю сейчас. Я вообще об отце думал редко – немалое, кстати, достижение, учитывая ту деспотичность, с которой он подчинил семью своим безнадежным планам. Не припомню даже, чтобы он учил меня отличать хорошее от злого, а у мамы, целиком занятой обслуживанием отца, а потом и деда, элементарно не хватало на меня времени.

Отец досаждал мне лишь суевериями, которые для его академического склада ума были чем-то вроде заземления. Когда я однажды прочел, что в жизни Чарли Чаплин был угрюмым и мало общительным человеком, мне открылась эта странная и даже навязчивая склонность отца к поверьям. Видимо, его мозг автоматически выработал в себе эту склонность, это был своего рода защитный механизм, уберегавший отца от сумасшествия, не позволявший ему впасть в крайность исследовательского фанатизма.

Возможно, я приписываю отцу не свойственное ему качество, но еще мне казалось, что, навязывая мне собственные суеверия, он пытался уберечь меня от неприятностей, не находя, вероятно, более надежных и простых способов защиты собственного ребенка. Я и сейчас всегда плюю через левое плечо, по крайней мере, представляю это и даже немного поворачиваю голову и наполняю рот слюной. И уж конечно, я отворачиваюсь, едва заметив похоронную процессию в оконном стекле.

Даже в маршрутке, по моей просьбе тормозящей напротив редакции «Итогов», где проходит прощание с Карасиным, я утыкаюсь глазами в букет с гвоздиками, который держу в руке. Разумеется, никакого гроба за окном нет, перед домом лишь с десяток людей. Остальные прячутся от пекла внутри здания, или, прослушав прогноз погоды, все больше напоминающий сценарий конца света, решили встретить неизбежное в менее печальной обстановке.

Очутившись внутри, я даже ненадолго теряюсь: уже в коридоре меня встречает непроходимая толпа. Прощальная гастроль покойному, надо признаться, удалась. Поглазеть на человека-загадку собралась уйма людей, которых не смущает даже то, что пообщаться с Карасиным им уже не удастся.

Гроб с критиком занимает середину большой офисного помещения, вероятно, совещательной комнаты, куда я добираюсь лишь минут через десять. Расставаясь с букетом, я осматриваю лица стоящих по другую сторону гроба женщин. Их выдает легкое волнение и непреодолимое любопытство, с которым они пялятся на покойного. Это, определенно, местные журналистки, и мне кажется, что я понимаю их ощущения. У них плохо получается сыграть скорбь, и они даже чувствуют уколы ревности к этому бесцеремонно разлегшемуся посреди комнаты – их совещательной комнаты, – человеку, которого они совершенно не знали

и которого устаивают такого внимания в помещении, где им часто приходится засиживаться до самой ночи.

Выглядит Карасин почти безупречно. Осунувшееся лицо покрыто благородной бледностью, волосы гладко прилизаны, и лишь подпирющий воротник сорочки черный галстук намекает на скрытые от глаз недостатки. Я сам себя ловлю на том, что многое хотел бы с ним обсудить, и даже, если он не успел разглядеть убийцу, узнать хотя бы о его личных подозрениях. Внутри меня – беспокойная суетливость, и все из-за того, что вчера я не справился с поручением Мостового. Лучше не начинать дела, чем бросать его на середине, я же с просмотра второй половины «Пусть говорят» все-таки сбежал.

Меня спугнул Маркин. Для официального представителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре он был чересчур откровенен, мне даже показалось, что он сливает информацию. Сказал, что основная версия – бытовой или личный конфликт, а после того, как добавил, что причастность театральных кругов к убийству не может рассматриваться всерьез, я выключил телевизор. Остаток вечера я провел во «Флибустьере», пил холодное пиво и смотрел Эм-Ти-Ви, мысленно проклиная Маркина. Правда, вечер вышел каким-то укороченным и уже в половине одиннадцатого я лежал на диване перед выключенным телевизором, обещая себе посвятить ночь изучению статей покойного. С дивана я все же поднялся, и хотя осилил лишь одну статью – рецензия, как назло, попалась длинная и путанная, – утром проснулся совершенно разбитым и невыспавшимся.

Вчерашнее пиво удачно стоворилось с отвратительным настроением, и даже, продвигаясь вместе с толпой прощающихся к выходу из редакции (церемонию только что объявили оконченной), я надуваю щеки, чтобы не выпустить из себя напоминающую о «Флибустьере» отрыжку. По пути я оказываюсь впереди Даниила Дондуря, единственного повстречавшегося мне коллеги убитого. Или он все же кинокритик?

Я наклоняю голову – не потому, что меня стыдит собственная неосведомленность. Мне решительно не на что смотреть, я точно знаю, что еще одно знакомое лицо мелькнет передо мной разве что по случайности. Лучше уж просто слушать.

Я и слушаю, вспоминая, как внимательно слушал Мостовой Дашкевича во время утренней планерки, с которой шеф и отправил меня на панихиду. Дашкевич говорил долго и обстоятельно, делая, пожалуй, излишне длинные паузы, в которые, тем не менее, не решался вклиниваться даже Мостовой. В целом, информативность доклада явно перекрывала самолюбование докладчика – редкое для Дашкевича достижение.

Задержанный начальник охраны ресторана – лишь сегодня утром я узнал, что его зовут Михаил Усатый, – оказался бывшим кадровым работником ФСБ. Вернее, КГБ, из которого он ушел еще в восемьдесят девятом году, сменил несколько частных охранных структур, пока не возглавил службу безопасности «Вествуда». Мужинского знакомого в Карасине супруга Усатого не узнала, фамилия и род деятельности жертвы также ни о чем ей не говорили. Сам Усатый признался, что знал Карасина давно, целых четыре года, с тех самых пор, как ресторан приглянулся журналисту в качестве места, где он может наслаждаться полным одиночеством в весьма достойном заведении. В непосредственной близости от места убийства – на столе, стульях, на тарелках, которые подавали Карасину, – отпечатков Усатого обнаружено не было.

Нигде, кроме тарелок, не оставил отпечатков и официант, которого я поспешил зачислить в свои ровесники. На самом деле ему едва исполнилось двадцать два, при этом он уже успел пройти стажировку во Франции, Италии и, если я правильно запомнил, в Бельгии. Решение о его задержании было принято наутро после того, как задержали Усатого и Яковлева – того самого распорядителя, авторитет которого мы невольно подорвали в глазах подчиненных.

– А как насчет контактов Усатого с ФСБ? – пробежавшись взглядом по нашим лицам, спросил Мостовой и поднял глаза на Дашкевича.

– Запрос уже готов, – порывшись в бумагах, тот протянул шефу нужный листок. – Считаю целесообразным все сделать официально. В любом случае, это быстрее, чем по другим каналам, да и тянуть с ответом они не имеют права... Еще и эфэсбешников дернем, – добавил он после короткой паузы.

– Вы лучше о работе думайте, – парировал Мостовой, но его глаза ясно давали понять: запрос Дашкевича уйдет в ФСБ, причем незамедлительно.

Затем слово дали Кривошапке, проработавшему финансовое направление. Кредитов Карасин не брал, долгов, во всяком случае, официальных, за ним также не числилось, а о неофициальных говорить еще слишком рано – по крайней мере, до тех пор, пока вдове журналиста не начнут беспокоить странные люди с не менее странными требованиями, например, о продаже квартиры. Кстати, кроме квартиры продавать нечего: у знаменитого критика не было не только дачи, но даже собственного автомобиля. Был рублевый счет в банке, о чем Кривошапке рассказала вдова Карасина, но банковские данные, и это понятно всем нам, нуждаются в дополнительной проверке.

– И это самый успешный театральный критик, – резюмировал Мостовой, сложив руки на груди. – По счетам пробейте все досконально, может, что-то прятал от жены. Хотя я лично сомневаюсь. А в принципе, дожимаем деятелей общепита. Кстати, сегодня вечером двое из них окажутся на свободе, ведь так? – он покачался на стуле, а я утвердительно кивнул вместе с остальными. – Быстренько подготовьте ходатайство о продлении срока задержания еще на семьдесят два часа. И на официанта, кстати, тоже. И, кстати, – он прицелился в меня указательным пальцем, – сегодня же похороны.

На кладбище я решаю не ехать: для разочарования мне хватило и панихиды. В ожидании выплывающего из дверей гроба я встречаюсь взглядом со Станиславом Сададьским, и он кажется мне еще полнее своего телевизионного двойника, но ниже, чем я ожидал.

– Говорят, сутки зашивали, – слышу я, и понимаю, что вокруг меня все только и делают, что говорят.

Даже подслушать вовремя у меня не получается.

– Так вы не едете? – слышу я женский голос.

– Я же говорю, ровно в два отправление – растолковывает мужской, и их накрывает волна других голосов.

– Мне, кстати, Новиков позвонил насчет рукописи.

– Кто?

– Представляешь, да? Сам Новиков.

– Да, в ресторане.

– Пьяный?

– А кто сейчас скажет.

– Наконец-то познакомились.

– Юра, не гневи небеса!

– Причем московский бюджет покрывает только тридцать процентов, представляешь?

– Нет, ну это же правда.

– Юра, это уже несколько за рамками приличий.

– Новикова? Нет, лично никогда не встречалась. Есть, правда пару общих знакомых.

– А вон же автобусы!

– И что, все влезут?

– Слушайте, голову, говорят, и в самом деле как Берлиозу.

– Действительно дикость!

Выбравшись из толпы, я утираю пот со лба влажной ладонью, а рубашку и вовсе стараюсь не касаться. Меня оглядывают двое милиционеров, и мне кажется, что думают они о чем-то своем. Возможно, мне это мерещится после сегодняшних слов президента о том, что реформа

милиции все-таки состоится. Жребий – я это по собственному опыту знаю – слеп и, вполне вероятно, что именно этих парней ожидает скорое увольнение.

Толпа рассеивается, не дожидаясь погрузки гроба в катафалк; все разом бросаются осаждать отбывающие на кладбище автобусы. Потом все поедут в кафе, и хотя я тоже голоден, сама мысль о поминках отбивает у меня даже самый назойливый аппетит.

В кармане брюк оживает «Йота», и, достав оповещатель, я улыбаюсь, представляя, как много людей в эти же секунды матерят Мостового и всю систему оповещения, этот дорогуший и совершенный механизм, не способный разделить получателей по группам.

Сообщение Мостового содержит одно слово. Вполне, кстати, достаточно для того, чтобы уяснить, что эксперты сделали, пожалуй, самую важную часть своей работы.

«Тесак», читаю я и прячу оповещатель в карман.

Значит, все-таки кухня.

«Ракушка» для Феррари. Звезды охотятся на уток в МХАТе им. Чехова

До премьеры своей пьесы Вампилов не дожил, и, разумеется, предположить не мог, что его «Утиная охота» десятилетия спустя будет считаться «знаковым произведением», и его, Вампилова, «визитной карточкой». Собственно, и утонул драматург весьма символично – вместе с собственными надеждами на всеобщий успех, и кто знает, сколько ему пришлось бы ждать премьеры, не случись с ним беды в воде сибирской реки. Мертвых у нас, как известно, жалуют, поэтому скорые после гибели драматурга постановки неувидительны даже по меркам брежневского застоя.

Удивляться надо сейчас и, думается, будь он сегодня среди нас, господин Вампилов немало бы удивился. Во-первых тому, что он уже господин, а не товарищ, а во-вторых, тому, что Олег Табаков решил вернуть самую известную его пьесу. И куда – на сцену самого МХАТа! Она там уже, кстати, гостила, и воспоминания о режиссерском и актерском бенефисе Олега Ефремова, постановщике спектакля и исполнителе главной роли, мягко говоря, неоднозначны.

Впрочем, резонанс от нынешней постановки куда более шумный, и дело совсем не в особенностях постановки, хотя и до этого дойдем. Пьеса готовилась как классический бал-маскарад, о котором модницы начинают судачить за месяц, а как попадут на мероприятие, так жмутся к стене, надеясь, что их заметит хотя бы самый плюгавый кавалершишка и, преодолев собственную робость, пригласит, наконец, на танец.

Судачили о спектакле заранее и действительно много, словно на сцене – не пьеса из жизни унылого советского прошлого, а что-нибудь этакое. Например, мюзикл в постановке Никиты Михалкова (при том, что мюзикл в постановке его брата вполне себе представим). Надо же, Табаков выписал себе кассовых звезд! Да еще питерских – Хабенского и Пореченкова. А если к ним добавить занятого в спектакле Семчева, то мы и вовсе имеем не спектакль, а рекламно-мыльную оперу. Говорится это с некоторым иронично-осуждающим акцентом.

Я, например, ничего зазорного в этом не вижу. Поясню на примере. Я никогда не любил футбол, но всегда обожал читать. Не так давно мне попала в руки книга знаменитого тренера Валерия Лобановского, открыв которую, я, к своему удивлению, не смог оторваться от чтения, пока не добрался до последней страницы. К сожалению, я совершенно ничего о нем не знал – понимаю, что звучит неправдоподобно, но всегда, когда я слышал эту фамилию раньше, мне она казалась издевкой над великим математиком Лобачевским. Книга произвела на меня огромное впечатление. Я даже нашел и приобрел кассеты с двумя матчами, которое киевское Динамо под руководством Лобановского провело с испанской Барселоной в 1997 году. 3:0 и 4:0 соответственно. Между прочим, не в пользу знаменитых испанцев.

Знаете, за что большие всего не любили Лобановского болельщики других советских клубов? За то, что тот, при полной поддержке первого секретаря ЦК Украины Щербицкого, переманивал игроков. Интересно, что бы они сказали сейчас, когда футболисты через год меняют команду, если им предложат более выгодный контракт.

Так ведь и не в переманивании дело. Переманивание еще ничего не дает, и уж тем более – триумфального результата. И приглашение Табаковым звезд «Ментов» и «Агентов» на главные роли – тоже еще не результат. Может, разница в том, что у Щербицкого был Лобановский, а у Табакова – всего лишь Марин?

Про режиссера Александра Марина не хочется говорить ничего плохого, он действительно сделал все, что смог. И не его вина, что уровень театральной режиссуры катастрофически низок, а сам он – не гений, способный сделать шедевр, абстрагируясь от общего

катастрофического уровня. Нет, он старается. Изобретательно планирует и расставляет декорации... Вот, пожалуйста и все.

Потому что играть пьесу Вампилова можно совсем без декораций. Может, даже лучше без декораций. Ее нужно просто ИГРАТЬ. А что мы имеем?

Конечно, спектакль, при всем отсутствии интриги, касающейся собственно творческой составляющей, сводится, помимо внезапной атмосферы дорогого спектакля на основе советского текста, к вопросу об исполнителе главной мужской роли. Точнее, к сравнению исполнителя с Олегом Далем. И здесь пушки, или, если намекать на финал пьесы, ружья, молчат. Говорят эпитеты. Непревзойденный Зилов – лучше Него его уже никто не сыграет так.

Хотя вопрос нужно ставить по другому. А мог ли Олег Даль сыграть хуже? Он, талантливейший актер своего поколения, мог ли сыграть хуже роль, словно написанную для него? И не надо утверждать, что Даль играл себя. Даль не мог играть себя – он, в отличие от Зилова, не дошел до такой глубины самопознания, которая неизменно заканчивается саморазрушением. Он качественно делал свое дело, болел за него в прямом и переносном смысле. В отличие, между прочим, от Зилова, степень рефлексии которого довела его до прямо противоположного полюса человеческой натуры. До полного равнодушия.

Никто не спорит, саморазрушение Даля – зарегистрированный медицинский факт. И все же степень деконструкции собственной личности Даль не возвел в абсолют. У Зилова глубина рефлексии такова, что ему не хватает сил даже на прощальный выстрел. У Даля она тоже была приличной, и все же за винтовку он и не думал хвататься.

У меня есть знакомый, бывший банщик в Сандунах. Он в свое время, извините за подробность, выносил еще живого, но мертвецки пьяного Даля из бани. Причем утверждал, что делал это неоднократно. Однажды он сказал мне одну вещь: «Раньше они были доступны». Сказал он это, имея в виду, разумеется, свои отношения с актерами. Он произнес эти слова с некоторой обидой, которую я почему-то воспринял в свой адрес. И все же у меня случилось прозрение.

Они действительно были доступными, наши небожители. Настолько, что советская бухгалтерша, увидев в ресторане Андрея Миронова, поначалу взвизгнула бы от восторга, а потом рассказывала бы подружкам, что и ростом он ниже, и сутулый, и вообще, бяка, даже не улыбнулся ни разу за вечер. Но главное – она бы поняла, что он плюс-минус такой же, как она. И если он и вырывался за железный занавес, то прекрасно понимал, что в любой момент лавочка может прикрыться, причем во всех смыслах. Достаточно не «отстегнуть» приставленному стукачу дежурную дань – приобретенный в ФРГ магнитофон марки «Грюндиг».

Теперь все иначе. Наши люди по-хозяйки меряют шагами эту планету. Всю и далеко за пределами одной шестой части суши. И даже стыдно вспоминать, как выглядели наши актеры, которых в бесконечных поминальных передачах по ТВ называют сплошь гениальными. Как они выглядели, как держались рядом, скажем, с той же Джинной Лолобриджидой. Году эдак в 1972, когда она, кажется, действительно приезжала на Московский кинофестиваль.

Нет, нашим знаменитостям отпускали комплименты, могли потрепать по щеке, а они стояли, ссутулившись и пригнув голову, грустя оттого, что сияющая Лолобриджидка, конечно, уедет, а вот вопрос с выездом – на полгода, на съемку в Италию к Феллини, – решится, скорее всего отрицательно. Это нетрудно, обрасти рефлексиями и комплексами, когда ты – точно такой же обитатель лагеря, как ставропольский комбайнер. Кстати, о ставропольском комбайнере.

Одному лишь имени Михаила Сергеевича, упоминаемому даже всуе, наши актеры должны кланяться в пояс за то, что сейчас имеют. Они большие не обитатели лагеря, определявшего судьбы таких разных людей как Даль и Зилов. И если Зилов ощущал свою трагедию

скорее интуитивно, чем осознанно (отчего она не была, однако, менее болезненной), то Даль прекрасно понимал, что живет за непреодолимым забором и, возможно, страдал от своей нереализованности в качестве невозвращенца. Он чувствовал себя заключенным, он проклинал соцреализм в своих дневниковых записях. Не знаю, завидовал ли он Барышникову и Нуриеву или, на худой конец, Видову с Крамаровым, но дневниковые записи Даля не оставляют сомнений: он презирал соцреализм и нет никаких оснований полагать, что боготворил породивший его советский социализм. Он видел Марчело Матростяни и искренне страдал от соизмеримости его, Даля, дарования с талантом итальянца и разделявшей их гигантской пропасти. Пропастей денег, пропасти славы, пропасти возможностей. Пределом его мечтаний была трехкомнатная квартира в центре Москвы, она же – апофеозом его унижений.

А кто такой Константин Хабенский? Каков его оклад во МХАТе? Сколько комнат в его квартире и сколько у него квартир? На Лексусе он уже ездит или все еще на Ауди? Отдыхал он прошлым летом в Таиланде или уже в Эмиратах? Испытывает ли он неудобство от своего сшитого на Санкт-Петербургской трикотажной фабрике костюма, находясь в компании иностранных актеров, или на нем смокинг от Хьюго Босса? Испытывает ли он вообще хоть какую-то неполноценность, встречаясь с иностранными актерами, с которыми – вот пророчеству – обязательно будет сниматься в будущем. Как снимаются его коллеги Машиков, Балзев, Меньшиков, добившиеся того, о чем мечтать не имели право их старшие и, по меньшей мере, не менее маститые коллеги: беспрепятственно сниматься за рубежом.

Вот вам и секрет русской творческой депрессии. Закройте в одной стране любого актера, дайте ему одни и те же роли, заплатите столько, чтобы в сравнении с зарубежными коллегами он чернел лицом при виде их цветущих, как сами цветы, садовников, и вот вам – глубокая трагическая роль. И Зилов здесь – не высший пилотаж.

А вот для замечательного артиста Константина Хабенского – пилотаж по неземному недостижимый. В первом же спектакле на новом месте актеру достается сверхзадача – сыграть персонажа из недавнего времени, до которого, однако, целая эпоха. И это – самая большая проблема Хабенского в этом спектакле, это его неподъемная цель. Вот Михаил Пореченков, другая питерская звезда, натурален в роли бармена. Он безусловно, переигрывает не только Хабенского, но и любого предыдущего исполнителя своей роли. Переигрывает просто потому, что о барменах знает куда больше старых советских актеров. И играет он – и правильно делает – бармена современного, и получается очень убедительный бармен начала семидесятых. А Хабенский не играет современного Зилова, он настолько подчеркнуто пытается пролезть в исчезающую эпоху, что ничем хорошим это не заканчивается. Мы точно знаем, что в себя Хабенский не выстрелит, а вот что сделает Зилов Даля, засовывая в рот дуло, не знал, похоже даже сам Даль.

Можно сколько угодно иронизировать над действительно неумельцами «Тайнами Мадридского двора» режиссера Бейлиса в Малом театре, но там неумелость даже культивируется со сцены и сделана нарочито, словно создатели спектакля говорят зрителю: мы, мол, знать не знаем ничегошеньки о тех временах. Средневековые мы играем или новое время – даже об этом мы знаем не больше вашего, а вы – не больше нашего. Так что давайте вместе посмеяемся над нашим представлением о тех временах.

И последнее отступление. Недавно я прочел интервью одного известного актера, который побывал в российской глубинке. Он долго рассказывал, как у людей отключили отопление во время двадцатиградусных морозов, как младший ребенок донашивает старые, истертые штаны старшего, рассказывал с улыбкой о том, какие у живущих там людей, несмотря на дикие трудности, душевные отношения. Он все это рассказывал и вдруг... заплакал. Потому что НЕ ПОНИМАЕТ, как можно так жить.

Наши нынешние актеры – такие. Не понимают того, чего не в состоянии понять столичный зритель, сидящий на дорогом спектакле про советское прошлое. Они не понимают, как

Россия может так жить. И в этом – единственное достижение спектакля, за которое ему можно смело поставить твердую четвертку. За то, что видим успешного и модного актера, играющий сгнувшего вместе со страной лузера, видим «Феррари», которого загоняют в узкие ворота гаража-ракушки. Видим, что вокруг нас, столичных жителей – чуждая нам страна, которую мы не в состоянии понять глубоко. А если и в состоянии – то не в силах удержаться, чтобы не расплакаться.

*Дмитрий Карасин
«Итоги», №22, 4 июня 2002 г.*

3

– Нет-нет-нет, – говорю я, устраивая форменный бунт, – вы должны ехать. Именно вы.

За те мгновения, пока длится растерянность Мостового, я читаю в его глазах ненароком приоткрывшийся внутренний мир шефа. По крайней мере, ту его часть, в которой обитаю я сам – есть в голове Мостового и такой уголок.

Шеф быстро собирается, быстро восстанавливая глухую стену между мной и своими мыслями. Для этого ему нужно не так много, всего лишь – придать лицу обычное, чуть рассеянное выражение, а глазам – холодный блеск. Но главное я уже заметил. За считанные секунды Мостовой прокрутил в голове несколько вариантов моей неожиданной контратаки. Если, конечно, его указание встретиться с Догилевой можно считать атакой.

– А в чем проблема-то? – спрашивает он.

Во второй раз за три дня я вызван к шефу на разговор без свидетелей. Неплохая, на первый взгляд, зацепка для долгожданного карьерного роста, будь у меня хотя бы один повод заподозрить Мостового в благосклонности.

Решил ли Мостовой, что я крепкий орешек? Или, скорее, утвердился в этом мнении? Похоже, все обстоит не так уж радостно, и моя революция затухает, так толком не разгоревшись. Мои возражения Мостовой расшифровывает так, как и полагается выдавшему виды полковнику. Ждет, пока улягутся эмоции, чтобы, трезво оценив собственную силу, не преувеличить мощь противника. Я, безусловно, сейчас для него противник, о котором я сам, если не принимать во внимания догадки, не имею ни малейшего представления. Странное ощущение: должно быть, так чувствует себя медиум, пока его мыслями и речью безраздельно правит вселившийся в тело дух.

Я сижу перед Мостовым в его кабинете, но говорит он определенно не со мной. Для него я – лишь картонная фигура в полный человеческий рост, и в прорезь между моими нарисованными губами его проверяет могущественные соперник; жаль, что, обернувшись, я не могу увидеть своего кукловода.

Зато я вижу Мостового, пожалуй, не менее искушенного, чем его воображаемый соперник, бойца. Мой выпад он принимает за проверку. Собственной выдержки, способности держать удар и потенциала нашего с ним паритета. При том, что, позволив себе указывать шефу, я наверняка предстал перед ним нарушителем этого негласного мирного договора. Что ж, всем своим видом он показывает, что ко всему готов. И прежде всего, встречать противника с открытым забралом.

– Так в чем проблема? – повторяет он.

– Да собственно, никакой, – пожимаю плечами я. – Я просто подумал... Она все же известная актриса...

– А ведь я чуть ли не через совещание повторяю, – говорит он, – нет и не может быть авторитетов для сотрудника Следственного комитета. Государство, – он решительно ударяет ребром ладони по столу, – возлагает на нас особые надежды.

– Я понимаю...

– ...и дело не только в том, что как структура мы появились совсем недавно, – не обращая внимания, продолжает Мостовой. – Это же все не случайно, ты понимаешь, – переходит он на доверительный тон. – Все видят, что в стране происходит. Коррупция, чиновничий беспредел. Вон, в Интернет страшно заходить, – тычет он в монитор, и мне кажется, что пару дней назад я видел не только этот жест, но и слышал точно такие слова.

– Или мне что, – на глазах распаляется он, – советоваться с вышестоящим начальством, прежде чем снять показания? Так, что ли? Да мне пле-вать, – подается он вперед, как будто и в самом деле собирается плюнуть в меня. – Когда я на работе, любой человек для меня –

источник информации. А потом уже Вася, Петя, Таня. Маршал, олигарх, народная артистка. И вы, люди, на которых я, надеюсь, вправе рассчитывать, должны в первую очередь руководствоваться одним простым правилом. Прежде всего – информация, а уж потом – субординация. Тем более, что по субординации вы подчиняетесь мне.

– Я все понял, – говорю я, убедившись, что в речи Мостовой образовалась пауза.

– Мигалки они понацепляли, – мрачнеет Мостовой. – Я что-то не слышал, чтобы, не знаю, Утесов ездил с кортежем. Или даже Любовь Орлова. Звезды, мать их, – фыркает шеф, и я удивляюсь тому, как несколько слов меняют облик человека. Такой Мостовой больше всего напоминает ворчливого старого сплетника.

– И потом, – говорит он, – это просто твои профессиональные обязанности.

– Слушаюсь, – киваю я.

Так всегда: стоит кому-то завести разговор о долге, о нашей особой благородной миссии, как я и в самом деле начинаю чувствовать себя вырезанной по силуэту человеческой фигуры картонкой. В Пресненском ОВД я был, кажется, единственным, кто не брал взятки. За своей славой я явно не успевал. Меня сторонились, видимо, заранее зная, что «решать вопросы» надежнее с другими, моими более проверенными в таких делах коллегами. Всучить мне деньги решился бы разве что какой-нибудь недоумок, но у таких денег как раз и не было.

Да я и сам знал, что ничего не решаю. Нет, я был на хорошем счету и считался перспективным сотрудником – не единственным, конечно, но одним из немногих, – и все же за свое бессребреничество я был обречен. Не только на развод с женой, но и на снисходительное высокомерие со стороны менее перспективных, но куда более успешных коллег. Из-за неумения жить я, тем не менее, совершенно не комплексовал, и даже не секунды не раздумывал, когда ребята – я не сразу понял, что в шутку – предложили мне поехать к проституткам. Я много раз улавливал обрывки их впечатлений, и хотя они замолкали при моем появлении, я был уверен, что они успевали не только обменяться восторгом, но и обрызгать друг друга слюнными выделениями.

Меня, повторюсь, долго вербовать не пришлось. В одну из пятниц – майский ветер, казалось, раздувал на наших машинах паруса, – на двух служебных Ладах мы отправились на мою премьеру. По правде сказать, я сильно трусил, и даже необходимость обманывать жену не перебило моего волнения. Мне хватило обычного спокойствия и твердости в голосе, чтобы не внушить Наташе подозрений. Куда больше меня беспокоило то, что необходимой уверенности я не смогу внушить своему члену. Я и представить себе не мог, каково это – меняться партнерами, видеть возбужденные органы парней, с которыми делишь один кабинет и даже касаться друг друга телами. При том, что даже по скупым остаткам доносившихся до меня разговоров, я догадывался, что дело происходило именно так: в одной большой комнате, без перегородок и может даже на одной кровати.

Я оказался прав: парни предпочитали коллективное грехопадение, при этом мои собственные опасения оказались не прочнее мыльного пузыря. Мы раздевались вместе – четверо мужчин и две женщины, и я так и не понял, в какую секунду лопнул страх, а сам я из кролика превратился в удава.

Трахались мы «Новой заре», обшарпанной с фасада гостиницы с темными коридорами и советской мебелью в номерах. Гостиница состояла на балансе Пресненского района и была обречена, но директору каждый раз удавалось отстоять здание – не в последнюю очередь, благодаря умению подстраиваться под запросы государственных структур. Однажды у стойки администратора, столкнувшись с делегацией районной прокуратуры, мы сделали вид, что прибыли с плановой проверкой. Осторожные взгляды прокурорских работников говорили о том, что коллегам из райотдела милиции они рады не больше нашего. Их, как и нас, ждал просторный номер и готовые на многое девушки.

После того случая, с парнями я больше не ездил. Ребята ничего не сказали, но я был уверен, что меня сочли придурком, для которого честное имя важнее радостей жизни. А я особо и не радовался, во всяком случае, одного визита в гостиницу мне хватило, чтобы почувствовать себя дешевкой, таким же, как мыло, резким цветочным ароматом которого разило от наших спутниц.

Несколько последующих месяцев я прожил в состоянии гнетущей тревоги. От собственного организма я ждал исключительно неприятностей, и каждый новый день без подозрительной сыпи или необычных выделений лишь усугублял мои подозрения. Я переживал, что когда все обнаружится, помочь мне уже никто не сможет. Эти месяцы были, вероятно, самыми спокойными для Наташи. Я не раздражался от очередной интерпретации правила, которым она вооружилась после вторых родов. «Нет презерватива – нет секса», звучало это правило. Между тем секса у нас и впрямь становилось все меньше и полагаю, именно в этот период она окончательно решила порвать со мной.

Я же надеялся на очередной медосмотр, больше всего на свете желая оттянуть его не неопределенный срок. По крайней мере, до появления бесспорных симптомов. Я оказался здоров, как, впрочем, и мои бывшие напарники по утехам, которых сама мысль завязать с регулярными заездами в «Зарю» всполошила бы не меньше, чем меня – перспектива длительного лечения в венерологическом диспансере. Я почувствовал невероятное облегчение, но, одновременно, резкость притупившихся от долгих терзаний реакций. Ко мне словно вернулось обоняние, и я захлебнулся всеми запахами этого мира. Впрочем, за избавление от тревоги я заплатил сполна – потерял жену, еще не подозревая об этом.

Иногда я замираю как вкопанный, не понимая, каким хрупким оказался мой мир. Бамц – и еще секунду назад совершенная форма обдает окружающих осколками. Разбить ее проще, чем решиться на поход к проституткам.

– Что ж тут непонятного? – спрашивает Мостовой, поднимаясь с кресла. – Созваниваешься, договариваешься, встречаешься. Общаешься как с обычным человеком, вот и все.

Я тоже встаю. Меня ждет первая и сама неприятная часть поручения – звонок Догилевой. Остальное – мой безусловный выигрыш, и я даже горжусь тем, как убил двух зайцев, даже не думая хвататься за ружье. Заставил понервничать Мостового и спас свое направление расследования. Лучшего и не пожелаешь.

Признаюсь, у меня задрожали руки и совсем не от вибровонка оповещателя, когда на экран «Йоты» высветилось информирующее короткое сообщение шефа. «Сам тесак», уже через минуту ответил ему полковник Лепешин, начальник седьмой следственной группы, и благодаря полной транспарентности нашей секретной внутренней сети, его ответ могли прочитать все те сотрудники Конторы, которым еще не наскучило время от времени реагировать на бесконечный поток оповещений.

Я был далек от веселости полковника, представляя совсем уж безрадостные картины. Я видел, как архивирую файлы со статьями Карасина, как складываю на верхнюю полку рабочего шкафа папку с подшитыми вырезками из журнала «Итоги». Мой участок расследования заканчивался тупиком; я знал, что этим все и закончится, но не предполагал, что это произойдет так рано. Теперь меня, волей-неволей, Мостовой был обязан подключить к основному направлению расследования, что самому шефу также не добавляло энтузиазма. Мог он и вовсе отстранить меня, но это уже пахло служебным расследованием, а это было прежде всего не в его интересах. Не знаю, что говорят о наших отношениях парни из нашего отдела, хотя и допускаю, что на эту тему они размышляют значительно реже, чем я – о том, что подумают они.

Для Мостового я – напоминающая о себе в самый неподходящий момент заноза. Он мой шеф, и в его силах избавиться от меня в любое время. По сути, это даже проще, чем выдернуть занозу из пальца, но шеф боится и поэтому терпит эти неприятные покалывания – собственные мысли обо мне. Я знал, как ему придется поступить: изобразив на лице сочувственное

сожаление, он предложил бы как можно скорее переключиться на ставшее теперь единственным направление. Я должен был, догоняя, перегонять; шеф заряжал меня этой фразой каждый раз, когда накрывался мой заранее обреченный участок. Он, похоже, и сам начинал верить, что позже всех включившийся в работу (настоящую работу, я имею в виду) сотрудник первым пересекает финишную черту.

Я не люблю догонять и уж совершенно теряюсь, когда меня пытаются подгонять. Разумеется, никто кроме меня, об этом не знает. Мне трудно угодить, но от перемены настроения в проигрыше оказывается лишь один человек – я сам. Я давно заметил – труднее всего уговаривать самого себя и совсем уж невыносимо – снова приходиться в себя после того, как то, в чем я себя так долго убеждал, рушиться в одно мгновение.

Все говорило о том, что так же будет и в этот раз. Когда шеф назначил меня главным театроведом в своей группе, я не знал, как поступить – прыгать от счастья или лезть в петлю. Умиротворение пришло после нескольких дней и около сотни прочитанных статей. У меня даже стало закрадываться подозрение в родстве с покойным, настолько я понимал его взрывную реакцию на, казалось бы, безобидный спектакль и едва сдерживал зевоту, представляя, как сижу в зале на громкой премьере, для которой у Карасина не нашлось ничего, кроме пары абзацев вялой, не живее самого спектакля, ругани. Мы были близнецами по темпераменту, и чем дальше я читал, тем сильнее мне казалось, что в строках я различаю его голос. Мне не суждено было услышать его голоса, даже в семье не сохранилось ни единой записи, ни одного снятого на любительскую видеокамеру фрагмента. Он и в самом деле был человеком-загадкой, этот Карасин, но теперь это приносило мне не столько служебные, сколько внутренние терзания. Я уже не сомневался, что с первых минут нашей встречи мы бы убедились, насколько похожи, и даже взаимное косноязычие лишь подтвердило бы очевидное: мы рождены разными родителями, но в наших жилах течет одна кровь. Я чувствовал себя опустошенным: моего близнеца по крови больше не было в живых, а рассчитывать на понимание кого-то еще мне не приходилось.

В какой-то момент я едва не поддался на уговоры совести, требовавшей головы виновного, и даже стал переживать из-за того, что не участвую в поисках убийцы. В настоящих, как нехотя признавался я себе, поисках. Впрочем, когда такая перспектива стала реальной, я снова испугался. Теперь мне хотелось мертвой хваткой вцепиться в подшивку «Итогов». Месть преступникам я вычеркнул из своих планов, и все, чего я хотел и о чем мысленно умолял Мостового – продлить, хотя бы ненадолго, мой театроведческий мандат.

Слово «тесак» исчезло из списка сообщений моего оповещателя; мне казалось, что, уничтожая послание шефа, я отменяю все прогнозируемые этим сообщением последствия. Может, поэтому я не был удивлен, когда Мостовой не только не перебрал меня к остальным парням, но и попросил поднажать. По тому, что начать он советовал с Догилевой, я даже заподозрил его в том, что на самом деле он сам не стремится получить мой подробный отчет о текущей работе. Меня осенило, когда я понял, что его осведомленность ограничивалась сведениями из программы Малахова, которую он, держу пари, тоже не досмотрел до конца, и кто знает, не встретились бы мы тем вечером за кружкой пива в «Флибустьере», если бы жили в одном районе?

Я снова не находил точки равновесия – настораживался от одного упоминания имени Мостового и едва сдерживался, чтобы не разразиться искренней благодарностью в его адрес. Шеф оставил меня «главным по театру» – мог ли он представить, какое вдохновение переполняло меня? Даже труп Карасина теперь вспоминался мне как кинохроника – плоские, выцветшие кадры, явно снятые кем-то другим, при том, что я прекрасно помнил мотив, крутившийся в моей голове в тот субботний вечер в «Вествуде». Это была «Серебро», песня «Би-2» – этой странной группы, музыка которой вызывает у меня пластмассовый привкус в рту. Я нико-

гда не мог причислить себя к меломанам, но часто бываю благодарен музыке не меньше, чем Мостовому.

Все дело, конечно, в моей избирательной и парализующей волю брезгливости. В моей квартире неделями не слышно воя пылесоса (Наташа утверждала, что из-за моих отложенных уборок у детей развилась аллергия), при этом я стараюсь держаться от трупа на некотором расстоянии – так мне неприятен вид окровавленной раны. Над телом жертвы я всегда пою – про себя, но всегда с достаточной для спасительного рассеивания внимания громкостью, звучащей где-то в недрах моего черепа. Даже в институте, на семинарах по криминалистике я почти неосознанно отключался, когда речь заходила об особенностях огнестрельных и ножевых ранений. Иногда же, склонившись над телом жертвы, я внутренним зрением наблюдаю разные картины. Мрачные, подчас даже более жестокие, чем реальность перед моими глазами, они, тем не менее, справляются с главной задачей – отвлекают внимания от застывающей крови, даже от запаха которой я покрываюсь мелкой дрожью.

В последние годы, вплоть до развода, на месте убийств я видел, как ссорюсь с женой. Обычно мы ссорились молча; собственно, взаимный обет молчания и был ссорой, и чем ближе к расставанию, тем больше выдержки мы проявляли в умении обходиться без слов. В последнюю нашу ссору мы не разговаривали четыре дня, воображаемый же конфликт протекал гораздо живее.

Я представлял, как первым нарушаю молчание и даже бормочу похожие на просьбу о прощении слова. Наташа ликовала. В жизни она никогда не отвечала таким взглядом, полным одновременно торжества и презрения, и продолжала молчать, явно наслаждаясь победой. Я тоже замолчал. Я чувствовал, как мое добровольное умиление растворяется в неудержимом бешенстве. Тогда я посчитал про себя до семи и занес над Наташей кулак.

Удар пришелся ей в переносицу, и я даже заметил, что она так и не успела удивиться. Из глаз у нее брызнули слезы, и я, как хищник при виде первой крови, еще больше раззадорился.

– Ах, тебе не обидно? – заорал я и снова ударил ее, теперь уже точно не задумываясь о такой ерунде как сила удара.

На мгновение я потерял из вида ее лицо – так сильно Наташа запрокинула голову, прежде чем упасть. Рухнула она уже за порогом комнаты (вся сцена происходила в коридоре), и что у нее с лицом, я мог лишь догадываться: верхняя часть ее тела скрывалась за дверным косяком. Впрочем, ее ноги остались в коридоре и выглядели как ноги пятидесятилетней женщины, что, признаюсь меня неприятно удивило. Оказалось, Наташе было достаточно неудачно раскорячиться, чтобы почти удвоить собственный возраст. Немного помедлив, я все же заглянуть в комнату, но ее лица рассмотреть не успел: в этот момент меня кто-то тронул за плечо. Это был Иванян, и в руках у него была рулетка. Моя застывшая перед трупом реальной жертвы фигура мешала ему производить замеры.

Я избил жену, возможно даже убил. Финал не был досмотрен мной, как это обычно случается в самых благостных или кошмарных сновидениях. Я чувствовал что-то похожее. Мой мозг был опьянен радостью и одновременно ужасом, и этот коктейль смывал краски с реальности, а больше мне ничего и не требовалось. Иногда я думаю, что совершить самоубийство мне не дает именно это. Страх от одного вида человеческой крови, тошнота от ее запаха. Я, наверное, успею на прощание наблевать, прежде чем, рухнув на асфальт с десятого этажа, буду до самой смерти – если не повезет погибнуть мгновенно, – видеть, как из-под меня растекается лужа тягучей, пахнувшей страхом жидкости.

Тем удивительнее, что большинство событий собственной жизни я не в состоянии предсказать. Мое воображение работает чересчур активно и при совершенно вхолостую.

– И все-таки лучше это сделать вам, – бросаю я шефу, уже выходя из кабинета и едва не вскрикиваю, столкнувшись на пороге с Кривошапкой.

Его взгляд застывает на мне, а в его жизни происходит крушение устоев, и виноват в этом я. Он решительно не верит в то, что только что услышал. Я посмел указывать Мостовому – что, черт возьми, это значит?

Обойдя Кривошапку, я оставляя его наедине с шефом, а их обоих – в лабиринте, выйти из которого они смогут, лишь ответив на десятки вопросов о том, кто я и чего добиваюсь. На их месте я бы сошел с ума, но Кривошапка не станет теряться и постарается хотя бы сделать вид, что соответствует шефу. Даст Мостовому знать, что тот может всегда на него положиться

Профессионал Кривошапка, кстати, неплохой. У него – неаккуратная проплешина, которую он безуспешно скрывает редкими волосами, а его глаза неплохо дополняют фамилию. Он косит, и этот его взгляд на худощавом лице не свидетельствует о большом уме, скорее наоборот. И тем не менее, ему хватает сообразительности уже много лет быть полезным Мостовому, а если учесть, что основная заслуга Кривошапки состоит во внушении шефу собственной незаменимости, его карьеру можно смело считать состоявшейся. Это ли не профессионализм – чувствовать себя скалой на месте, которого ты не заслуживаешь в силу своей ординарности?

С Мостовым Кривошапка работает не первый год, и вряд ли их отношения изменились с тех пор, как Мостового переманили в СКП, а он, в свою очередь, перетащил за собой Кривошапку. Кривошапка – профессиональный лакей, без которых не выжить ни одному начальнику. Как, кстати, и без засланных стукачей, в которые в нашем отделе записан я.

Впрочем, для остальных парней я не представляю никакой опасности. В отличие от Кривошапки, при появлении которого мы не повышаем голоса и не демонстрируем увлеченность работой. Так поступают только глупцы. Мы, напротив, сбавляем звук, а Кривошапка не замедляет шага и вообще, ничем не выдает своего неудержимого желания подслушать, подсмотреть и пронюхать. Зато его выдают шаги. Он ступает неслышно, как крадущийся шакал, и мы великодушно позволяем ему насытиться разочарованием.

Кривошапка и в самом деле разочарован. С порога включившись в наш разговор, пусть и в качестве слушателя, он убеждается лишь в одном: мы и не думали думать ни о чем, кроме работы. Он быстро переживает свое маленькое поражение, прекрасно все понимая. Он – лакей, и все свои неудачи лакеи считают адекватной платой за преференции. Иногда мне кажется, что это Кривошапка руководит Мостовым. Наверное, так думает о себе любой лакей.

– Что он от тебя хочет? – спрашивает Дашкевич, когда я вхожу в кабинет.

Оторвавшись от компьютера, он смотрит на меня с участием и в то же время прицениваясь. Словно пытается на глаз определить, чего я теперь, после визита к шефу, стою. Рухнули мои акции, или прыгнули выше отведенного мне потолка?

– Так, – неопределенно бросаю я, – не слушается.

Хмыкнув, Дашкевич придвигается к монитору и по яркому мельканию на его лице я понимаю, что он занят раскладыванием электронного пасьянса. Я не представляю для него конкуренции, и он продолжает играть, не опасаясь мелких коллегиальных пакостей с моей стороны. Я для него не опаснее ужа, неприятной на вид, но совершенно безвредной твари, на которую нужно просто не обращать внимания.

На моем же пути возникает очередная преграда, возникшая, как и большинство неприятностей, в моей собственной голове. Бросая взгляд на Дашкевича, в паре глаз которого отражаются аж два монитора, я мысленно недоумеваю: как же я раньше не задумывался о мнении Мостового по поводу моих служебных докладов? Как он должен относиться к моей работе, зная, что моя главная задача – следить и докладывать? Да и что я должен был делать, чтобы не вызвать подозрений, будь я на самом деле засланным соглядатаем? Быть предельно пунктуальным или сплести вокруг себя паутину лжи?

Набирая номер мобильного телефона Догилевой (впервые за семь месяцев я наведалься в святая святых, во внутреннюю базу данных, правда, третьего уровня доступа), я оказываюсь в плену одной из своих навязчивых идей. Мне кажется, что я делаю что-то не так,

и это настолько сбивает, что подготовленные для личной встречи вопросы я едва не вываливаю прямо по телефонную трубку. Меня спасает сама Догилева, ничего об этом, разумеется, не подозревающая.

– Вы, наверное, по поводу убийства журналиста? – слышу я в трубке. Будь у меня голова чуть менее занятой, я бы не удержался и уточнил, действительно ли говорю с Татьяной Догилевой. Настолько этот низкий голос из трубки не вяжется с ее экранным образом.

Но я лишь подтверждаю ее предположение и уточняю, где и когда мы смогли бы переговорить.

– Даже не знаю, – говорит она. – Приезжайте на Забелина дом три дробь три на студию звукозаписи. Это метро «Китай-город», кажется. Или вы на машине?

– Я постараюсь побыстрее, – ухожу от ответа я. – Вы когда там будете?

– Давайте к трем. Получится у вас?

– Конечно, получится, – говорю я. – Спасибо!

Догилева мне представляется в каком-то белом пышном платье – в нем она выглядит одновременно невестой и хозяйкой бала. В таком наряде, если меня не предаст память, она запомнилась по фильму, ни названия которого, ни даже общего контура сюжета я не вспомню без подсказки. Она же встречает меня в джинсах и в белой футболке, и наше личное знакомство не доставляет нам обоим удовольствия: я вынужден был ответить на ее жест и протянуть в ответ свою взмокшую кисть.

Идиотская жара! А тут еще кофе – две дымящиеся чашки нам приносит девушка в шортах с большими, пожалуй, даже болезненно выпученными глазами.

– Мы здесь озвучиваем, – окидывает взглядом помещение Догилева, не уточняя, что, собственно озвучивает. Может сериал, а может, рекламный ролик.

Мы сидим у окна, в маленькой, квадратов на десять, комнатке, ведущей – это видно через приоткрытую дверь, – в студию с огромным режиссерским пультом и стеклом в полстены, наглухо изолирующим еще одну комнату, в которой гордо возвышаются микрофонные стойки. Чашки я касаюсь губами разве что из вежливости. Мне все еще неудобно перед актрисой, и чем дальше, тем больше мне кажется, что мой дезодорант проигрывают в неравной битве – поначалу жару, а потом и волнению.

Потею я, не переставая, уже битый час. С той самой минуты, как из здания Конторы я вынырнул в ад, который кто-то очень могущественный этим июлем перебазировал в Москву.

– Если не возражаете, я хотел кое-что уточнить, – перехожу я к цели визита.

– Спрашивайте, конечно, – соглашается Догилева.

Удивить ее мне не удастся. Она, конечно же, ожидала, что прежде всего я сделаю то, что и делаю. Начну вспоминать понедельничный эфир.

– Догадываюсь, к чему вы клоните, – говорит она. – Эта мое глупое признание, да?

Я киваю.

– Я так и знала, что вы догадаетесь. А впрочем, я поняла это еще там, в студии. Слишком наигранно получилось, ведь так?

Я с сомнением поджимаю губы.

– Вы просто не хотите меня обижать. Знаете, прямой эфир – это не допрос в милиции.

– А я вас и не допрашиваю, – говорю я. – И я не из милиции.

– Я запомнила, – впервые улыбается она. Даже поздоровавшись, Догилева выглядела серьезной и, пожалуй, уставшей. – Вы из Следственного комитета. И вы поняли, что я имею в виду.

– Согласен, понял, – еще не видя добычи, говорю я и чувствую внезапную резкость кофейного аромата.

– Я не обязана исповедоваться перед миллионами телезрителей, понимаете? Я, конечно, понимаю, что это кому-то может быть интересно, но – извините. Я вправе выбирать, что говорить и о чем умолчать.

– И вы умолчали, – озаряет меня.

– Вот видите, а говорите – не наигранно. Вы все-таки догадались. Ну видела я этого Карасина один раз, что ж теперь? Его это не вернет, а вам не поможет найти убийцу, уж вы мне поверьте.

Я молчу, боясь спугнуть удачу, севшую на первую подвернувшуюся поверхность. На мое плечо.

– От вас мне скрывать нечего, поэтому я все расскажу. Надеюсь, это снимет все вопросы. Кстати, не для прессы – я правильно понимаю?

– Татьяна Анатольевна, у нас серьезная организация, – улыбаюсь я.

– Я тоже серьезно, – делает она серьезное лицо. – У меня, знаете ли, скоро роман выходит. Большой роман в большом издательстве. И мне бы не хотелось, – кусает она губы, – ну, вы понимаете?

– Создавать негативный фон?

– Вот-вот, – рада подсказке она. – Черный пиар – так это, кажется, называется?

– Исключительно конфиденциально, – говорю я.

– Хорошо, – говорит она и на мгновение замолкает. – Это было в две тысячи пятом, на московском кинофестивале. Он подошел ко мне в фойе перед премьерой фильма Алексея Учителя. Кстати, фильм потом взял Гран-при.

– Карасин подошел?

– Ну да. Я и понятия не имела, что это он.

– Но слышали о нем?

– О нем слышала, – говорит она и отпивает из чашки. – Я, честно говоря, испугалась. Подходит совершенно незнакомый мужчина, одет вроде прилично, но позволяет себе, знаете ли, такое...

– Вы меня интригуете. Честное слово.

– Сергей, он даже не представился!

– Да, – только и знаю, что сказать я.

– Представляете? И сразу с таким, знаете, напором доказывает мне, что в «Покровских воротах» на мою роль надо было взять другую актрису. Пригласив меня, Казаков, видите ли, сгубил мою карьеру. Представляете? – повторяется она.

– Я, наверное, в таких тонкостях не очень.

– А ничего сложного нет. Человек проявил, мягко говоря, бестактность. Прямым текстом – нахамил. А все остальное – стереотип вздорной, грубоватой и веселой девушки, который, якобы, шлейфом тянется за мной, – все это лишь слова. Мне бы и в голову не пришло, что профессиональный критик может сказать такую чушь. Я поэтому и испугалась: решила, что передо мной уличный шизофреник.

– И как вы поняли...

– Саша Абдулов. Царствие ему небесное, – еще глоток кофе. – Чуть руку мне не оторвал. Как дернет: «Да ты что? С этим негодяем откровенничаешь?». Ну, он другое слово употребил.

– Получается, Абдулов знал его.

– Я не спрашивала. Не интересовалась, – она задумывается. – Саша вообще-то не жаловал журналистов. Даже в суд подавал. Или собирался подавать? Говорил, что отстреливать их пора.

– Вам стало неприятно, когда вы узнали, с кем говорите?

Догилева пожимает плечами.

– Даже не знаю.

– Две тысячи пятый, – бросаю я взгляд за окно. – К этому времени Карасин уже отметился в ваш адрес.

– О! – поднимает брови Догилева. – А говорите, в тонкостях не разбираетесь.

– Работа такая, – усмехаюсь я, чувствуя, как предательски накапывает веселость. – За пару дней становишься экспертом в любой области.

– Почти как у артистов. У нас за это же время нужно влезть в шкуру другого человека.

– Вам было обидно читать его статьи? Я имею в виду, статьи о вас?

– Мне – нет. Ну, считал он меня так себе актрисой, что теперь?

– Мне попадались только те статьи, где он писал о вас как о режиссере.

– За режиссера он меня вообще не считал, но это обычное дело. У меня был спектакль, «Дама ждет, кларнет играет», – я киваю веками, давая понять, что знаком с соответствующей рецензией, – так этот товарищ... Мммм... Как там было? – морщит она лоб, – про Рому Мадянова.

–»... который стараниями Догилевой выглядит плюшевым медведем, скачущим на манер заводного зайца-барабанщика», – безошибочно цитирую я.

О спектаклях Догилевой у Карасина я нашел две небольшие рецензии, и ко встрече мне не составило труда перечитать их с десятков раз.

– Ну вот, – говорит Догилева.

Выглядит она скорее расстроенной, чем удивленной моими познаниями.

– Вы извините, если..., – действительно чувствую себя виноватым я.

– Что вы, бросьте, – отмахивается она, но даже во взгляде актрисы не угадать разбуженной -обиды. – Если бы я слушала всех критиков, мне надо было бы отказаться не только от «Покровских ворот». Вообще от всех ролей – и в кино, и в театре. Ничего не поделать, люди завистливы и злы. А критики – еще и бездарны.

– Татьяна Анагольевна, – вкрадчиво, словно это может загладить мою вину, говорю я, – вспомните, пожалуйста. Может, кроме Абдулова, еще кто-нибудь из ваших коллег знал Карасина в лицо. Может, от Абдулова вы что-то об этом слышали.

– Да наверняка видели и наверняка знают. Не верю я в эти истории про отшельников. Рано или поздно захочется вылезти из норы, просто из любопытства. Но я не представляю, кто бы это мог быть. Возможно, они договорились не афишировать свои отношения. Ну, знаете, чтобы его так и считали отшельником. Даже не знаю... Вот на похоронах этот человек наверняка был. Или люди, если их несколько было.

– Кстати, – говорю я, мысленно соглашаясь с Догилевой. Еще я жалею, что не поехал на кладбище и вообще, на панихиде показал себя полным идиотом. Даже фотоаппарата с собой не захватил.

– А Абдулов – нет, больше ничего не говорил, – продолжает она. – Да он и ушел почти сразу, я его в тот вечер больше не видела.

– Наверное, вы правы, – говорю я, – телезрители не много потеряли, не услышав этой истории. И потом, негатива о Карасине на программе и так хватало.

– Я по другой причине передумала. Не хотелось вспоминать неприятный эпизод. И напоминать не хотелось.

– Я вас понимаю.

– Мерзкая газетенка! – передергивает ее. – Фотограф нас поймал как раз в момент, когда Абдулов меня за руку схватил. На следующий день фотографию тиснули на первую полосу в «Экспресс-газете», можете себе представить?

– Да уж.

– Конечно, написали, что у нас с Сашей роман. Ну вот кто они после этого?

– В «Экспресс-газете»?

– Не знаю, существует ли она до сих пор.

– Эти не пропадут, – усмехаюсь я. – Вы, кстати, на телевидении рассказывали про Табакова.

– Ой, – откидывается на спинку стула Догилева, – лучше бы я все выложила про Абдулова. Боже, мне так неудобно перед Олегом Павловичем! Я не могу заставить себя позвонить ему. А он, наверное, обижен на меня.

– За что? – недоумеваю я.

– Я ведь ничего такого не сказала, правда? – с надеждой заглядывает она мне в глаза. – Я, кстати, еще смягчила его выражение.

– Что же он сказал?

– Вы сказали, это не допрос, – на ее лице прорезается осторожная улыбка.

– А вы обещали быть откровенной, – поражаюсь своей напористости я.

– Ваш кофе, кстати, уже остыл, – кивает она на подоконник, и я в знак того, что уступаю первым, беру с него чашку. – Ну хорошо. Вы были на «Мертвых душах» во МХАТе?

– Со мной, знаете, странная история приключилась. Я очень давно не был в театре, но чувствую, будто побывал на всех премьерах последних лет.

– Понятно, Карасина начитались, – усмехается Догилева. – Спектакль на самом деле превосходный. На сцене – грязь. Настоящая российская грязь, представляете? И Безруков, который играет Чичикова, хлюпает по ней сапогами. Он еще ни одной реплики не успел произнести, а какая глубокая получилась метафора! И эта гнида – других, извините, слов не нахожу – берет и обкакивает (еще раз извините) великолепную постановку. Меня он обгадил – это я еще могу простить. Но, извините, Табакова, МХАТ?... Карбаускиса – гениального режиссера? Кто он такой, чтобы унижать? Это что за жлобство?

– Вот мы и пытаемся выяснить, кому этот жлоб перешел дорогу.

– Сергей, вы, надеюсь, шутите. Пойдите, – настаивается Догилева, – вы, что из-за Табакова пришли?

– Я к вам, Татьяна Анатольевна, за помощью пришел. Поэтому про Табакова не имел права не спросить.

– Вы правы. На чем я остановилась?

– На Безрукове, на грязи.

– Ну, грязь на Сергея льют кому не лень. Так вот, Олег Павлович о рецензии Карасина отозвался немного иначе. Не так, как я это озвучила на всю страну. «Лучше играть в болоте, чем пердеть из него», вот что он сказал. Хорошо приложился, правда? А главное – по заслугам.

– И тоже метафорически.

– Н-ну, да. Наверное. Ха-ха, – смеется Догилева.

Я вежливо посмеиваюсь в ответ, так и не понимая, есть ли на самом деле метафора и в чем она заключается.

– Надо все-таки позвонить, – остывая от смеха, говорит Догилева и ее взгляд пускается в бега, словно поиск мобильного телефона и немедленный звонок Табакову – задача, с выполнением которой никак нельзя повременить до моего ухода.

А мне и в самом деле пора уходить. Уже на улице вместе с жарой меня догоняют отдельные фрагменты статей Карасина. Я приберегал их, как осколочные фугасы, которые собирался пустить в дело, если своими одиночными выстрелами спровоцирую ответную канонаду Догилевой.

Я слишком хорошо о себе думал. Ни один из моих выстрелов не достиг цели, и теперь я начинаю подозревать, что вооружен одними холостыми патронами. Зато в моей голове стоит непрекращающийся грохот: это бушует фейерверк из так и не пущенных в дело карасинских фраз.

«Режиссерша» – в двух рецензиях на спектакли Догилевой это слово повторяется тринадцать раз. В журнале слово пишется без кавычек, но при этом наклонным шрифтом. Вероятно,

в этом и скрывается метафора, и я даже не поленился порыться в словаре. Нет в русском языке такого слова, но не было, похоже, выхода и у Карасина. Догилева была права: режиссером он ее не считал, и в своей убежденности журналист решился на искажение – не критическое для ревнителей словесности, – но оскорбительное для персонажа статьи. Мне стоило вооружиться субъективным отношением Карасина, ведь Догилева была ему явно не по вкусу. Настолько, что в своих претензиях он дошел до точек.

«В своем новом спектакле», писал он, «*режиссерша* использует уже испытанный прием. „Не отрекаются любя...“, сообщает афиша, и это троеточие явно позаимствовано из прежней постановки Догилевой и тоже антрепризы, „Дама ждет, кларнет играет“. Между прочим, именно так, если обратиться к оригинальному тексту М. Кристофера, название пишется правильно. Без трех мечтательных точек в конце. Впрочем, намек на романтическую историю – а разве не ради такой аллюзии Догилева цепляет к названиям своих спектаклей искусственный шлейф, – выдает другое. А именно, стремление заполнить царящую на сцене пустоту. Увы, одними точками этого не сделать».

Уже в метро я съеживаюсь, несмотря на то, что вместо привычных вагонов этим летом пассажиров перевозят в поставленных прямо на рельсы духовках. Я был неправ: я не заставил Догилеву выйти из себя. Я не довел ее до истерики, она не решила, что я – свинья и быдло, и уж точно не думает о том, что неплохо бы проконсультироваться с адвокатом. В моих руках ждали своего часа сильные карты, но случилось невероятное: шулер забыл о собственных козырях. В моем отчете Догилева предстанет в меру уравновешенной и достаточно откровенной, что подтверждает главное: провокатор из меня – никудышный.

– Придурок, – думаю я, и получаю удар в левый бок. Сидящая рядом женщина шарахается в сторону и, пока ее испуг остывает, смотрит на меня глазами счастливого, выжившего после только что прогремевшего взрыва.

Я и не замечаю, как заговорил вслух.

4

Звонок Марии застаёт меня в момент очередного душевного надлома. Мне даже кажется, что я не узнаю себя в зеркале, и так происходит каждый раз, когда я меняю мнение о другом человеке. Теперь Карасин кажется мне заунывным ничтожеством и мелочным склочником, и я не могу отделаться от мысли, что самые большие любители сплетен – это одиночки и отшельники. Выходит, Догилева права?

К режиссеру Виктюку я, напротив, преисполнен тихого восхищения. Такое чувство, еще более приятное, чем гордость за себя, мне приходилось испытывать к раненым на задании коллегам. Его экранные причитания, от которых мне в квартире впервые почудился запах ладана, теперь кажутся обычным лексиконом божьего человека. После статьи Карасина я и вовсе готов признать его мучеником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.